

Литературно-художественный журнал

Основан в 2001 году

Издается при поддержке Союза писателей России



# ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Выходит ежеквартально

№2 (26) • 2015

## ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 3 **Анна ГЕДЫМИН.** Танька. Памятник культуры. Центрифуга. Случайность. *Рассказы*
- 12 **Екатерина ПОЛЯНСКАЯ.** Стихи
- 18 **Елизавета СТЕПАНОВА.** Эльфийка и байкер. *Сказка*
- 31 **Елена ГОГОЛЕВА.** Стихи
- 34 **Надежда ВАСИЛЬЕВА.** Свет Ивановна. *Рассказ*
- 39 **Ефим ХАЗАНОВ.** Стихи
- 44 **Валентина ЛЕЛИНА.** Записки на петербургской лестнице (*маленькие истории*)
- 61 **Илья ДАНЦИГ.** Озеро Окамо. *Рассказ*

### ГОСТИНАЯ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

- 68 **Владимир СЕРКИН.** Друг Шамана. *Главы из книги.* Стихи
- 74 **Максим ЖУКОВ.** Хомяк. *Рассказ*

### ДЕТСКАЯ КОМНАТА

- 80 **Мария ВАТУТИНА.** Разные звери. *Стихи*

### ПОЭЗИЯ. ДЕБЮТ

- 84 **Максим ГЛОТОВ.** Стихи. Переводы

### ПЕРЕВОДЫ

- 88 **Эрих Мария РЕМАРК.** Стихи (*перевод с немецкого Р. Чайковского*)

### ЭССЕИСТИКА. КРИТИКА

- 94 **Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ.** Грустный солдат. Мечта (Вокруг замысла). *Эссе (Окончание)*
- 114 **Павел ТОЛСТОГУЗОВ.** Он был титулярный советник: письмо Н. И. Язвического Г. Р. Державину

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

- 122 **Елена ГЛЕБОВА.** В мастерской Ибрагимбекова

Главный редактор –  
**Светлана Склейнис**

Редакционная коллегия:  
**Александра Дашкевич** (ответственный секретарь)  
**Виталий Дмитриев**  
**Борис Орлов**  
**Виталий Пинковский**  
**Владимир Порудоминский**  
**Татьяна Семенова** (зам. главного редактора)  
**Александр Скоков**

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.  
При перепечатке ссылка на журнал «Изящная словесность» обязательна.

© Журнал «Изящная словесность», 2015



Анна  
ГЕДЫМИН

## РАССКАЗЫ

## ТАНЬКА

1.

Танька — самый счастливый человек из всех, кого я знаю. И дело не в том, что ей как-нибудь особенно повезло в жизни. Скорее наоборот: с двумя мужьями развелась, осталась с дочкой и больной мамой на руках, денег нет, работа — от случая к случаю (Танька переводчица). И все же она ежесекундно и неподдельно счастлива, хотя сама об этом, кажется, не подозревает.

Звонит мне в начале второго ночи (время для Таньки относительно, как для Эйнштейна):

— Ты спишь?

— Сплю.

— Пожалуйста, не спи. Пожалуйста! А то меня разорвет на куски.

— Ну что еще?

— Я влюбилась.

— И все?

— В человека семидесяти лет!

— Ого. Ну и как?

— Что «ну и как»? Он, едва что-то заподозрил, сразу дал дёру, только пятки засверкали. Он же не идиот. Для семидесятилетнего человека мои эмоции, сама понимаешь, впечатление почти смертельное.

— Значит, теперь все в порядке?

— Наверное, да. Если не считать, что я абсолютно несчастна. Как ты думаешь, удастся объяснить ему, что мне от него совсем ничего не нужно? Тогда, может быть, он перестанет меня бояться?

— Я бы не перестала. Звонишь среди ночи, тут и тридцатилетний, не то что семидесятилетний, загнетса.

— Ой, ну извини, пожалуйста! Только не вешай трубку. Ты знаешь, он такой... Какой-то родной, теплый, все понимает...

• **Анна Гедымин** родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Ее рассказы печатали журналы «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь» и др. Стихи публиковались в антологии «Русская поэзия. XX век» (2001), альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Истоки» и др. Член Союза писателей СССР и СП Москвы. Автор семи стихотворных сборников и книги детской прозы. Лауреат премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (2013, в рамках Международной Волошинской премии), премии имени Анны Ахматовой (журнала «Юность») и др.

— Пора бы уж, все же не мальчик. А вообще — ты мне это уже говорила год назад про строителя...

2.

Действительно, год назад Танька, интеллектуалка, спросонок цитирующая Бродского и Саади, потеряла голову из-за крайне подозрительного мордоворота, неспособного без запинки произнести даже собственное имя — Альберт. Мне о случившемся с тревогой сообщил наш общий с Танькой знакомый, старый добрый редактор Гриша. Он был очень уязвлен тем, что она излила ему на этот счет душу — Гриша, насколько я понимаю, к Таньке уже много лет застенчиво равнодушен. И вдруг — на тебе.

— Я ее спрашиваю: «Где ты его нарыла?» А она, на полном серьезе: «На грядке нашла. Отправила маму с дочкой к знакомым на дачу, а он там по соседству сарайчик снимает. Круглый год». Я говорю: «А если он захочет к тебе прописаться?» «Пропишу, — отвечает. — Я сейчас ни в чем не могу ему отказать».

Видела я потом этого строителя — удивительный тип, что правда, то правда. Я даже в какой-то момент поняла, чем он Таньку заворожил. Все, что этот Альберт делал, получалось у него бесконечно плохо — будь то чистка картошки или строительство дома «в лапу». Среди знакомых, которым он вызывался что-нибудь отремонтировать, о нем скоро стали ходить легенды. На даче у одних он вверх ногами навесил ворота, у других в московской квартире ухитрился покрасить пол в такой бесспорный цвет, который у всех без исключения ассоциировался только с экскрементами. Для самой Таньки Альберт воздвиг целый книжный шкаф, развалившийся еще до того, как его полка коснулась первая книга. А Танька лишь моргала блестящими от восторга глазами, пылала щеками и без умолку твердила, какого замечательного мастера послала нам всем судьба.

Больше привыкший к неминуемой расплате, Альберт довольно долго чувствовал себя неуютно. Но худшие подозрения всё не оправдывались, и он постепенно успокоился, приосанился и дозрел до решения на Таньке жениться. Но опоздал: дня за два до этого она его разлюбила.

— Ты подумай, какая досада, — устало рассуждала Танька, забежав ко мне по дороге в больницу (маму в очередной раз положили на обследование). — Всего неделю назад я была бы на седьмом небе от его предложения! А теперь... Знаешь, он и говорить-то толком не умеет — все «как бы» да «типа», даже неудобно. И лицо у него какое-то свинячье... Ты не замечала?

Другая, совершив подобное открытие, наверное, огорчилась бы. Но не Танька. Она превратила недавнюю влюбленность в целую россыпь анекдотических историй — о себе, оглушенной африканской страстью, о нем, изумленном непрошенным вниманием. Причем о себе она всегда говорила довольно едко, а о «невинной жертве» — по-доброму и даже с нежностью. И от этого слушать ее было еще смешнее.

Стоит ли удивляться, что не слишком преуспевший в науке любви (равно как и во всякой другой) Альберт так ничего и не понял и навсегда остался поблизости — в роли не то незадачливого Танькиного слуги, не то бывшего мужа? Таких добровольных слуг возле нее всегда было немало — из прежних возлюбленных, несостоявшихся друзей и подруг, которых она когда-то одарила своим ослепительным восхищением. Пожалуй, и себя я бы могла отнести к этой категории.

Впрочем, рядом с Танькой не особенно хотелось размышлять. На каждого персонажа из своего окружения она могла в любой момент обрушить свои нескончаемые проблемы, что и делала довольно регулярно. И мы начинали эти проблемы изо всех сил решать. А в ответ приносили ей свои беды, на преодоление которых она бросалась со всей шумливой энергией. Правда, у нас постепенно складывались семьи, нормальный быт, а Танька так и оставалась неприкаянной, восторженной и счастливой. Воздух вокруг нее звенел и вибрировал от любви. Отказаться от роскоши находиться рядом было невозможно.

3.

Отец мой умер совсем молодым человеком, и его друзья взяли своего рода шефство над обезумевшей от горя мамой, а заодно и надо мной. Теперь, когда и мамы уже нет, их круг заметно поредел. Но с пожилым профессором Николаем Ивановичем у нас за эти годы сложились особые отношения. Я стала ему вроде родственницы: интересовалась здоровьем, планами, работой, отношениями с коллегами. Он принимал мое внимание с благодарностью — семей за долгую жизнь у него сменилось немало, но душевной близости не сохранилось ни с кем, кроме меня — ни с бывшими женами, ни с детьми.

И вдруг выясняется, что Танька влюбилась именно в моего семидесятилетнего Николая Ивановича! Более того, что и он сам совершенно потерял от нее голову!

— Как вы думаете, — советовался утративший рассудок профессор, — я должен сразу сделать ей предложение или сначала пригласить в какую-нибудь поездку? Скажем, на теплоходе вокруг Европы? Или это будет нескромно?

«Это будет для вас смертельно!» — чуть не выкрикнула я. Но не выкрикнула. Какое в конце концов я имею право лишать людей радости? Даже если она вредна для их здоровья?

В общем, я избрала иной путь: просто отдалилась от Таньки и Николая Ивановича. Тем более что это было несложно — после круиза вокруг Европы они отправились в свадебное путешествие на остров Бали.

— Ты не поверишь! — кричала мне Танька по телефону накануне этой поездки. — Он хочет детей! Но мне кажется, я уже слишком стара. А он — совсем как ребенок.

Я сделала вид, что у меня сломался телефон.

4.

Через год Гриша принес радостную весть: Николай Иванович совершил какое-то важное открытие в своей научной области и переселился с молодой женой, ее мамой и дочкой в Нью-Йорк. Гриша тоже почему-то к ним собирался — ему там нашли неплохую работу (видимо, как несостоявшемуся возлюбленному).

А еще через полгода Николай Иванович сам позвонил мне и неузнаваемо механическим голосом сообщил, что Танька умерла. Внезапно, во сне. И тогда я поняла, что полного и абсолютного счастья на свете больше не существует.

## ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ

Я прихожу к нему, когда иссякают силы, терпение и надежда. Хотя точно знаю, что он не даст мне ни того, ни другого, ни третьего. Он вообще никогда и никому ничего не дает. Зато берет с охотой и не в меру: если удастся — деньги, но чаще — настроение, мысли, чувства. Есть такая форма существования белковой материи: человек берущий. Если угодно, в нем можно увидеть воплощение мужского начала. Мне не угодно. Я вообще имею факты, доказывающие, что этого типа не существует в природе.

Впрочем, для галлюцинации он слишком материален. Цепко, словно намереваясь посостязаться в армрестлинге, хватает мою вяло уворачивающуюся руку своей, сильной и горячей.

— Сколько лет, сколько зим! Жаль, что выпить... У тебя нет? И у меня не осталось.

Он обитает в маленьком, до невозможности грязном кабинете, по самый потолок заваленном пожухлыми рукописями. Зазеленевшая вода в графине, блюдец с раздавленным окурком, почти насквозь просиженное кресло... Лишь виднеющийся за окном пластичный омоновец из охраны соседнего казино напоминает о том, что я — уже не тот юнец, который явился сюда четверть века назад, в единственном приличном костюме и с полной душой еще не загаженных идеалов.

Тем временем визави мой, кажется, оживился не на шутку. Вскочил, нервно ходит из угла в угол (два шага туда — два обратно), потирает руки, обильно дышит чуть ли не «Беломором».

— Как, говорю, дела? — спрашивает.

— Хреново. А то разве пришел бы? — огрызаюсь, пролезая к креслу (оно еще с тех пор стоит максимально неудобно для сидения — угол шкафа под локтем, угол тумбочки перед коленом).

Он в ответ раздражается одобрительным смехом, переходящим в каркающий кашель:

— Ну да, мы, интеллигенция, теперь сам знаешь где. Я вот тоже сижу среди этого графоманья — и чего им всем от меня нужно? Ты сейчас как, женат?

— По-разному.

— Я тоже. Нинка ну до того надоела! У нас с тобой, как всегда, все одинаково. Я это сразу заметил, с тех пор как познакомились, помнишь? Да все ты помнишь, ты же свой человек!

Никогда, ни разу в жизни он не сделал мне ничего хорошего. Но это бы еще ничего, — он никогда не упускал возможности сделать какую-нибудь гадость. Я не в претензии за то, что, когда я принес свои первые стишки, он восхищенно поцокал языком, а едва я вышел, выбросил их в мусорную корзину. Не в обиде, что он написал какую-то особенно яростную, на уровне базарной брани, рецензию на мою первую книжку. В конце концов, когда неожиданно для всех, а особенно для меня, эта книжка получила престижную иностранную премию, он первый меня с нею поздравил. И предложил принести что-нибудь в их журнал. Но я, униженный и оскорбленный, отказался. И никогда ничего в его журнал не давал. И не дружил с ним никогда. И на противные его сплетни, передаваемые мне знакомыми, упорно не реагировал. И общего у нас ничего нет. Так на тебе: свой человек!

— Дай я тебе расскажу! — он уже трясет меня за плечо. — Живу я не на пенсию и не на зарплату, на это не проживешь. Я беру с графоманов деньги за

публикацию. То есть редакция само собой берет, официально, а я — отдельно. Предварительно. Представляешь, и они платят! Хотя их и так бы опубликовали, за официальный взнос! Я это называю налог на глупость. За это бы выпить...

Откровенно говоря, при каждой нашей встрече наступает момент, когда я все-рьез задумываюсь, не придушить ли его. Мне почему-то кажется, что это будет легко. И каждый раз его спасает одна и та же случайность: осторожно, как в метро, двери открываются, и в комнату входит какой-нибудь уж совсем фантастический персонаж. Сегодня это оказался длинноволосый юноша с застывшей гримасой невостребованной добродетели на лице. Этакая помесь Добролюбова с д'Артаньяном. И, конечно, при портфеле. В котором я, как ученая собака — присутствие наркотиков, отчетливо чую запах рукописи.

— Принес? — посуровев спрашивает хозяин кабинета.

Молодой человек жестом иллюзиониста вынимает из портфеля бутылку водки. За этим следует короткая сосредоточенная возня, в результате которой на столе, в проплешине между бумагами, возникают три стакана и почему-то лимон.

После первого стакана становится ясно, что без чтения рукописи не обойтись.

— А, ладно, доставай, я посмотрю, — милостиво произносит хозяин кабинета.

Господи, неужели и я вот так же угодливо рылся в портфеле, так же дрожали мои руки и пылали прыщи? Да, конечно, да. Ну и пусть. Будем считать, что именно за это сегодня такая тоска на душе и в теле. И я пригубляю второй стакан забытой уже дряни.

Но старый мой знакомец неумоим.

— Какая галиматья! — почти восхищенно грохочет он. И, адресуясь ко мне: — Ты только послушай!

Нет, увольте, никаких стихов! Я жестом останавливаю слово прямо на лету. И малодушно говорю:

— Лучше глазами. Я на слух хуже...

— На, передай мэтру, что он скажет. Это я его, между прочим, открыл. Он тоже пришел вот так, совсем мальчиком...

Добролюбов—д'Артаньян ревниво следит за каждым моим движением. Беру рукопись с твердым намерением не читать. И тут... Господи помилуй! То, что она напечатана на машинке в век всеобщей компьютеризации, меня не удивляет — откуда у этого чокнутого компьютер. Но откуда у него такая, та самая машинка? Высокие, немного пижонские буквы довольно глубоко тонут в податливой бумаге, отчего листы особенно, пьяняще шуршат. Через дедов «Ундервуд» прошли все самые любимые, самые первые мои стихи и рассказы. Вот так же вылетал кружочек из буквы «о», оставляя ровную дырочку. Так же насквозь пробивались иные точки и запятые. От одного вида этой машинки у меня еще недавно кружилась голова и побаливало сердце...

Ну мог ли я сказать ему что-нибудь неодобрительное? Умиленно пробормотал несколько дежурных фраз, с интересом наблюдая, как на лице молодого человека появляется, а потом закрепляется выражение фанатичной, собачьей преданности. Пожалуй, теперь он мог бы, чего доброго, пойти за меня на смерть.

— Ну ладно, ладно, — гостеприимный хозяин довольно бесцеремонно вытаскивает Добролюбова из комнаты. — У нас тут серьезный разговор, ты приходи в другой раз. Часов в восемь.

И, водрузившись на место, прикрывает глаза, смачно прокашливается, лоснящееся лицо выражает полное довольство. Глупо, но и со мной происходит нечто похожее.

Через какое-то время выясняется, что мы, оказывается, не одни — посреди комнаты послушно стоит и ждет некое флегматичное существо. Немытые патлы, круглая некрасивая физиономия, мешковатые штаны... С раздражением понимаю, что не в состоянии определить его пол. Что это, старость? В моей юности гневные бабули тоже не могли угадать половую принадлежность очаровательной джинсовой хипни. Может, на обувь посмотреть, это иногда помогает...

Приподнимаюсь в кресле, смотрю на обувь, не помогает — это оказываются кроссовки. Курьер (существо, как выяснилось, курьер, что тоже ничего не дает) вслед за мной внимательно и, кажется, с гордостью их разглядывает. Потом переводит водянистые глаза на меня и говорит ничего не проясняющим, промежуточным голосом:

— А я вас помню. Когда мы в Литинституте учились, вы к нам приезжали выступать. К нам многие приезжали, а вас мы почему-то запомнили.

— Да его все знают, он же знаменитость! — очнувшись гремит хозяин кабинета, забирая у курьера принесенные конверты.

— Это Женя, — почему-то с нажимом говорит он, когда дверь за существом закрывается. И я без огорчения понимаю, что мне не судьба узнать, юноша это был или девушка. Да и неохота. И зачем я так напился?.. Равнодушно, вполглаза наблюдаю, как мой визави убирается у себя на столе: пустую бутылку на пол, лимон и стаканы в шкаф, рукопись д'Артаньяна в корзинку, нераспечатанные конверты на подоконник...

— Слушай, денег у тебя займы не будет? — спрашивает на всякий случай.

— Не дам я тебе денег, — отвечаю, стараясь не расплескать ровное тепло, разлившееся по всему телу.

Он не обижается, от меня можно взять другое — мою, так сказать, широкую известность в узких кругах. И невзначай брякнуть какому-нибудь курьеру: «Он же знаменитость! Мой ученик». А это стоит мятого полтинника.

И тут появляется она. Ошибки быть не может. Она уникальна и невероятна. Томительный ее образ нельзя забыть. Знаете этих неожиданно созревших, стыдливых, толстых старшеклассниц конца семидесятых? Никакой косметики, никаких колец и сережек — только румянец во всю щеку и глупый, прямой взгляд. А из-под подола суровой коричневой юбки виднеются круглые колени, обтянутые плотным эластиком. Туфли на «школьном» каблучке немного повернуты носами внутрь... Ни одна актриса не сумела это воспроизвести — ее невозможно сыграть. Ею можно только быть, года два-три. А теперь таких вообще нет.

Она ничего не говорит, как и положено виденью. Только смотрит на хозяина комнатенки с настойчивой нежностью. И он в ответ расцветает, озаряется веселой похабщиной, машет рукой:

— Да, да, я все помню! Уже иду!

А когда она исчезает, мне:

— Ничего девица? Моя новая пассия.

Прикинув, сколько ему может быть лет, мысленно снимаю шляпу. И одновременно осознаю, что, пожалуй, хватит. Еще год, а может и несколько, я не появлюсь в этом затхлом кабинетике — смогу существовать и там, снаружи.

Знакомый мой меж тем бурно прихорашивается: сморкается, с явной симпатией смотрится в зеркало, проводит пятерней по волосам, маскируя блестящую плешь. И я понимаю, что все мы сдохнем — и я, и ты, и автор с «Ундервудом», и эта девица с ее непристойными коленками, а он — останется. И от этого мне делается хорошо. И я ухожу, окрыленный.



## ЦЕНТРИФУГА

1.

Это был он: чуть приподнятые при ходьбе плечи, вечно мешковатые джинсы, лихорадочно горящие глаза. Ну и, конечно, то, что называют «хорошей» улыбкой.

Она его обожала. До такой степени, что каждого человека оценивала по шкале его признаков: достаточно ли нелепа походка (про себя она почему-то окрестила такую походку «домашней»), не слишком ли аккуратен («пресен») облик и так далее, того анекдотичнее. Она отлично понимала, что ведет себя (точнее — проявляет себя, чувствуя его) как-то странно, но находила в этом *особую прелесть*.

Самую большую радость, настоящее блаженство, она испытывала по ночам, в одиночестве, когда можно было лежать, глядя в едва обозначенный обрывками света потолок, и мечтать. Нет, грезить — потому что никакого предвкушения, а тем более никаких планов на будущее, приличествующих мечтам, в ее радости не было. Только воспоминания, отчетливые и острые, как льдинки по телу.

Вот она распахивает дверь и зажмуривается от нестерпимого солнца. Оно кажется особенно ярким из-за того, что комнатка малюсенькая и пыльная, и пыль стоит в воздухе, просеивая солнце и заставляя светить медленнее, а потому сильнее. Впрочем, есть в этом плотном пыльно-солнечном поле и темное пятно, и это пятно — он.

Он — конторский служащий, этакий прилежный, но вольнодумный клерк. Сидит себе в пыльной комнатенке, на самом солнцепеке, в окружении пристальных и некрасивых (ей кажется) девушек. И тут она, как уже сказано, распахивает дверь и врывается — стремительно и радостно, и сразу оказывается на подлокотнике его шатучего жесткого кресла. И нахально чмокает его (не кресло, конечно) в колючую щеку. Стараясь не терять хотя бы самокритичности, она допускает, что похожа скорее не на влетевшего ангела, а на взбесившуюся козу (до коровы роста бог не дал). И от этого ей еще смешней. И она хохочет. И он тоже.

Или другой эпизод, более, что ли, индивидуальный. Дело в том — сейчас даже трудно в это поверить, — что однажды они были, как принято выражаться, близки.

Гнусная осень, гнусная погода, гнусный вечер и вдобавок надвигающийся комендантский час (по случаю смены одной гнусной власти другой; чуть позже они, естественно, подружились). Все это вместе и привело к тому, что он оказался — о ужас и восторг! — у нее дома (час поздний, живет он за городом и т. д.). Странно, но, начиная с момента, когда, щелкнув, затворилась входная дверь, она помнила только прикосновения. Вот его рука, нимало не раздумывая (о счастье врожденного хватательного инстинкта!), простирается к ней и жестко притягивает к нему. Складки его куртки вплотную к ее лицу. Ткань торопливо срывается, сменяясь горячей и гладкой кожей. Дружная ватага мурашек — от поясицы к лопаткам, а потом в затылке. Рифленая поверхность дивана. Ступня упирается в холодноватый бок книжного шкафа. Не слишком бритая щека и неожиданно нежное ухо. И дальше — о чем не хочется словами, но так радостно думать...

Помнится, потом ели кислую капусту с хлебом — как водится, больше дома ничего не оказалось. А потом — она даже не могла воспроизвести из-за чего, из-за какого-то пустяка — они поссорились. Помнила только себя, стоящую «в третьей позиции» (в едва накинутом халате, щеки горят) и говорящую что-то ужасное вроде «тогда уходи». А он отвечал, что, мол, комендантский час —

вместо того, чтобы просто погладить по голове. А она: «Все равно уходи». Он и ушел. А она даже не заплакала, просто постояла немного у окна и легла спать. А когда встретилась с ним недели через две, узнала, что его замели-таки в кутузку, где он и жил до утра, вместо того, чтобы у нее.

Ну тогда она разозлилась и вышла замуж. Не напрасно — это на него подействовало. Как потом рассказывали некрасивые конторские девушки, он долго возмущался и все спрашивал их, невольно обижая: «Ну почему за него, а не, например, за меня?!» Ей это льстило, даже в пересказе.

Потом она довольно долго его не видела. Года через два случайно, все от тех же конторских девушек, узнала, что он женился на женщине старше него, с ребенком. Но это ее уже не расстроило, а неожиданно умилило. Как и всё, впрочем, что было связано с ним.

И вот теперь, уже разведенная и оставившая на недельку трехлетнего сына родителям, она поехала в пансионат отдохнуть. В тот самый пригород (не случайно, конечно), где живет он.

## 2.

Это была она. Едва увидав ее издали, он понял, в какой степени не надеялся уже на эту встречу и как сильно желал. Даже нескончаемый дождик вдруг на минуту прервался. А она стояла на зашарканной дорожке, по которой он ходил каждый день, и ждала, когда он, наконец, приблизится. И он приближался (именно как-то неотвратно, не ощущая собственных шагов). И уже улыбался, радостно и почему-то облегченно — как не улыбался много-много лет.

Выждав приличествующую паузу, дождик припустил вновь, но при этом появилось ослепительное солнце. В общем, выглядело все это на редкость театрально.

У нее в руках был пакет с незрелыми сливами, одну из которых она, смеясь, жевала. Он увлек ее под какую-то крышу и тоже взял скользкую плотную сливу. Да, она приехала давно. Почему не зашла? Ждала, когда он сам появится. Правда, ждала. Нет, в самом деле (насмешливый взгляд, сливовая косточка за щекой). «Слушай! Да у тебя борода! И вообще ты совсем седой! А я как? Изменилась? Ну скажи, скажи!» Она казалась счастливой.

*Надо ли говорить, что он любил ее больше всего на свете, а может быть, и больше самого света?*

## 3.

Они не условились о встрече, но она не ложилась и в какой-то странной уверенности не отходила от окна. Наконец, около полуночи раздался свист. Это был он. В крошечной темноте. На велосипеде. Она удовлетворенно отметила, что время не отняло у него главного свойства — нелепости. И распахнула раму: «Ромео! Как мне жаль, что ты Ромео!..» Возня с велосипедом, тяжелый прыжок с подоконника на пол. И — прежняя «хорошая» улыбка. Нет, нет, ничего не потеряно!

Наоборот, у него было приобретение — кругленькая щемяще-беззащитная лысинка вокруг макушки, обнаружившаяся, едва он сел в низкое кресло. Она избегала смотреть на эту лысинку. Но — не могла сдержаться и смотрела, смотрела взахлеб, почти до слез, чувствуя, что делает что-то неприличное.

Впрочем, ничего неприличного не произошло. И если бы страдающие бессонницей пожилые дамы-соседки или любопытная дежурная заглянули в неурочно освещенное окно, они были бы разочарованы. Потому как двое в комнате про-

сидели до утра, почти не шелохнувшись, в разных углах. И даже пили только пустой чай. И разговаривали.

Однако это, бесспорно, была измена. Ее первая и самая серьезная из возможных измен бывшему мужу-ревнивцу. Не оставляющая пути к искуплению. Потому что так хорошо, ликующе-легко, надежно ей не было ни с кем на свете.

Он ушел под утро. И она, с размаху упав на диван, тут же уснула. А проснувшись, обнаружила, что по щекам тепло и непрерывно катятся слезы. Так она и лежала с улыбкой, глядя в потолок и внимательно чувствуя, как горячие струйки сбегают к вискам, как остывают где-то возле ушей, а затем — зябко, по капельке — уходят в подушку. Она была совершенно счастлива.

4.

Они разминулись всего на несколько минут. Подгоняемая внезапно проснувшимся аппетитом, она помчалась в столовую, на обед. Сил было столько, словно ей опять пятнадцать, десять, три, как сыну... Вся жизнь была впереди.

Если бы она знала, что именно в этот момент он подошел к ее двери с целой авоськой слив, пакетом молока и еще какими-то продуманными кульками! Если бы увидела уже другой вариант его «хорошей» улыбки — заботливый (впрочем, не менее нелепый)!..

Они встретились чуть позже, на той же тропинке. И снова вдруг разразился ливень, и снова они прятались под ближайшей крышей. И смеялись, а по лицу катились дождинки — а может, слезы. Завтра ей предстояло вернуться домой, а ему — к привычным делам, к семье, работе. Ее ждали блаженные грезы о нем — а его о ней. Он сказал, что, как это ни глупо, любил всю жизнь только ее. Она неожиданно резко ответила: «Не ври». И попросила его уйти.

*А что еще могли они сделать, чтобы облегчить друг другу это последнее расставание?..*

## СЛУЧАЙНОСТЬ

Он что-то нес за пазухой. Просто шел и что-то нес за пазухой, бережно, как котенка. Он не выглядел ненормальным или даже просто возбужденным. Поэтому, когда он упал и на асфальт потекла красная жидкость, все сначала подумали, что он нес вино или сок — и вот разлил. Лишь через несколько минут кто-то вспомнил хлопок и понял, что это выстрел. Все сразу же закричали, загалдели невыносимо — счастье, что он этого не слышал. Не кричала только ты. Просто приближалась мягким шагом.

Он шел на встречу с тобой. Сказать, что ты можешь делать что угодно. Хочешь — даже выходи замуж за это ничтожество. А он — он не желает этого видеть. И покидает тебя. И всё, и всё... А получилось так, что события не связались во времени — он не выдержал раньше, чем вы встретились.

Приехали милиционер и доктор. Оказалось, что никакая это не кровь — в самом деле, пакет вишневого сока.

— Ну и слава богу! — заскучили зеваки и начали разбредаться.

Только ты никуда не уходила. Ну и что, что не кровь? Сердце-то все равно остановилось — по сигналу постороннего выхлопа с автострады.

\* \* \*

От трескучей фразы на злобу дня,  
Виршей холопских, бешеных тиражей,  
Ангел Благое Молчанье, храни меня —  
Губы мои суровой нитью зашей.

Лучше мне, измаявшись в немоте,  
Без вести сгинуть, в землю уйти ручьём,  
Чем, локтями работая в тесноте,  
Вырвать себе признание — не важно чьё.

Лучше исчезнуть, попросту — помереть,  
Быть стихами взорванной изнутри.  
Только бы — перед ликом твоим гореть,  
Только бы слушать, только б Ты говорил!

Только бы слушать, вслушиваться в шаги,  
Свет Твой угадывать из-под прикрытых век...  
Вечность во мне, прошу Тебя, сбереги,  
Ибо я всего-то лишь — человек.

В час, когда сердце захлёстывает суета,  
Требуя покориться и ей служить,  
Ангел Благое Молчанье, замкни мне уста,  
Чтобы мне перед Словом не согрешить.

#### НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ

Не копи барахла. Ты немного удержишь в руке.  
От погони, к тому же, вернее уйдёшь налегке.  
И запомни ещё то, что я повторяла не раз:  
Ни одна из вещей никогда не заплачет о нас.

Одевайся лишь в чистое — мы ведь не знаем с тобой,  
И не знает никто, когда примет последний свой бой.  
В Бога веруй, и кланяйся только Ему одному.  
У людей не проси. Подрастёшь — сам поймёшь почему.

Если надо — дерись до конца. Но лежачих не бей.  
Уважай всех крылатых — ворон, воробьёв, голубей.  
И зверей уважай — помни, что и у них есть душа,  
И всегда за душой — что у них, что у нас — ни гроша.

• **Екатерина Полянская** окончила СПбГМУ им. И. П. Павлова. Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников «Бубенцы» (1998), «Жизни неотбеленная нить» (2001), «Геометрия свободы» (2004). Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Наш современник», «Питер-book». Лауреат конкурса «Пушкинская лира» (Нью-Йорк, 2001), премии имени А. А. Ахматовой (2005), имени Н. Гумилева (2005).

---

И ещё: если сможешь, стихом никогда не греши —  
Всё в бумагу уходит. Очнёшься, вокруг — ни души.  
Лучше просто живи, не жалея ни сил, ни огня...  
По родительским дням поминай, если вспомнишь, — меня.

\* \* \*

В горьких снах приходят ко мне  
Те убитые на войне,  
Кто и вовсе не воевал,  
Чья могила — пустырь, подвал,  
Где настиг их шальной снаряд...  
Вот стоят они и молчат.  
Оглушает безмолвный хор...  
Мне не выдержать их укор.

И — мурашками по спине:  
— Почему вы — ко мне? Ко мне?  
Ваша смерть — не моя вина.  
Это просто — война, война.  
Это просто — беда, беда...  
Так зачем вы пришли сюда?  
Вы ошиблись... —

и мне в ответ

Шелестит, словно выдох: «...нет».

Что хотите вы от меня?  
Где найду я для вас огня,  
Если жизнь моя — в суете,  
И слова мои все — не те,  
Если я — в потёмках сама,  
Если проще — сойти с ума?  
Отступитесь, как сон, как бред! —  
И в ответ, словно эхо:  
«...нет!».

#### РАЗРУШЕНИЕ ФАБРИКИ

В ворота  
с нетерпеливым урчанием  
врываються грузовики,  
чтоб после,  
взрѣвая от натуги,  
переваливаясь и оседая,  
словно бы озираясь,  
ползти потихоньку обратно.  
Из-под их бортов  
сочится капля за каплей,

течёт по асфальту,  
струится  
сухая кирпичная кровь.  
За воротами  
с лязгом и скрежетом  
огромная челюсть  
жадно вгрызается  
в тёмно-красную плоть,  
в бесстыдно разодранные,  
вывернутые наизнанку  
потроха перекрытий.  
Рушится всё.  
В грохочущем воздухе виснет  
красно-бурый туман,  
мелькают чёрные тени.  
Азарт разрушения  
перерастает в экстаз,  
почти что в истерику.  
Слитный  
механический вопль  
раскаляется до нестерпимого визга.  
И обрывается.  
В обморочной тишине  
среди праха осевшего,  
среди мёртвых обломков  
кирпича и железа  
заводская труба  
отчаянно тянется к небу.  
А в окна  
последней стены,  
отделяющей  
одну пустоту от другой,  
удивлённо заглядывает  
осколок лазури.

#### ТРОЕ

Фотография стандартна: первый класс —  
Ох уж мне, блин, эта «школьная скамья»...  
«Неблагополучных» трое нас —  
Лёнька-Чипа, Игорёк, да я.

Полуграмотная тётка Игорька,  
Та, что мыла в нашей школе этажи,  
Нам сказала: «Жизнь у вас горька.  
Надо вам, ребятушки, дружить.

Все вы — сироты: без мамок, без отцов,  
Стало быть, и не нужны вы никому.

Не теряйтесь, а не то в конце концов  
Передавят, как котят, по одному».

Вот мы и дружили как могли:  
Вместе дрались, вместе бегали в кино,  
Тополиный пух в июне жгли.  
И нам было совершенно всё равно

То, что я училась хорошо,  
А они — забили напрочь... Ну так что ж?  
И меня не повергали вовсе в шок  
Сигареты, клей «Момент» и даже — нож.

А потом все разбежались кто куда:  
Им — в путягу, ибо славен всякий труд,  
Я же безо всякого труда  
Как-то быстро поступила в институт.

Лёнька воровал, попал в тюрьму,  
После вышел — да обратно сел.  
Игорь пил. Потом бомжатскую суму  
На плечо вполне безропотно надел.

Ну а я науку грызла сгоряча,  
Не сбавляя взятый темп на вираже.  
В общем, я училась на врача,  
И — безуспешно... Но уже

Просыпался странный зверь в моей груди,  
И дышал, переплавляя всё — в слова.  
Бабка говорила: «Нелюдь!» и  
Не была совсем уж сильно неправа.

Лёнька сгинул где-то в дальней ИТК,  
Игорька отравы со свету сжила.  
Ну а я могла бы жить наверняка.  
Я могла бы. Да вот только — не смогла.

Потому, что бесконечно длился час,  
Но меж пальцев утекли десятки лет...  
Потому, что только трое было нас:  
Пьяница, ворюга и — поэт,

Потому, что это — полная фигня:  
Дескать, каждый сам судьбу свою лепил.  
И теперь я знаю точно: за меня  
Лёнька воровал, а Игорь — пил.

И всё чаще я гляжу, гляжу туда,  
Где сквозь облака высокий свет  
Говорит о том, что боль — не навсегда,  
А сиротства вовсе не было и — нет.

## КАРТИНА

В Никольском храме древнего Изборска  
Картина есть. Иконою назвать  
Её едва ли можно: змей огромный  
Среди багряно-дымных языков  
Бушующего пламени разлётся,  
Свиваясь в кольца и разинув пасть.  
По телу змея, словно по дороге,  
Влачатся к пасти грешники: цари  
В роскошных багряницах вперемешку  
Со скрюченной и злобной нищетой,  
Разбойники, купцы, прелюбодеи,  
Транжиры, игроки и гордецы,  
Лжецы, чревоугодники, блудницы,  
Блестящие придворные, скупцы,  
Жестокие воители в доспехах,  
Архиереи в митрах... И у всех  
Отчаянье на лицах и покорность.  
И каждый одинок и обречён  
В потоке бесконечном, непрерывном  
И безнадёжном. А со всех сторон  
Несчастных окружает нечисть: бесы  
С бичами и трезубцами. Они  
Бодры, неумолимы, мускулисты.  
Напоминают лагерный конвой —  
Собак и автоматов не хватает  
Для сходства абсолютнейшего. В той  
Наивной аллегории всё ясно  
И канонично, в общем-то, вполне.  
Когда бы не деталь: одна из грешниц  
Споткнулась, обессилев. На неё  
Бичом конвойный тут же замахнулся.  
Локтём закрыла женщина лицо,  
Пытаясь защититься от удара,  
И скорчилась. Нет в этом ничего  
Необычайного. Но вот мужчина,  
Идущий рядом... Крепко обхватив  
Одной рукой несчастную за плечи  
И наготу её прикрыв плащом,  
Другой рукой он резко замахнулся  
На беса. На охранника! Лицо  
Его сурово, даже тени страха  
На нём не отражается. Глаза  
Глядят упорно, гневно прямо в харю  
Бесовскую. И кажется, что тот  
Слегка растерян от сопротивления



Нежданного... Но что хотел сказать,  
Что показать хотел безвестный мастер,  
Нарушивший канон?

А может быть,  
К Всевышнему воззвал он дерзновенно,  
Моля приговорённым даровать  
Надежду на спасенье?..

В самом деле —  
Прошедший человеческим путём,  
Сполна познавший все его тревоги,  
Сомнения, тоску и смертный страх,  
Неужто не спасет того, кто даже  
За смертною чертою сохранил  
Достоинство в себе и состраданье,  
Остался человеком даже там,  
Где человеком быть нельзя?

Неужто  
Закон и справедливость больше, чем  
Господне милосердие? — Не может  
Такого быть...

Дерзай же, мастер! И  
Моля о нас, вовек не отступайся!  
Да отворят стучащемуся!..

Она была эльфийкой — но не той, конечно, что шьют себе длинные платья, клеят выпирающие уши и снимаются в фотосетах, а потом надевают любимые берцы и идут на концерт памяти Горшка. Нет, она в самом деле была светлой эльфийкой, и поэтому вписываться в канву сюжетов окружающего мира ей было непросто. Безусловно, ей не приходилось прятать под причёской эльфийские уши — уши у неё были самые обычные, и даже в серёжках не было ничего сакраментального, выдававшего её истинное происхождение. Более того — она даже никогда не читала на тематических сайтах статьи с заголовками вроде «Как определить, что вы настоящий эльф?» Но всякий, кто заговаривал с ней — всерьёз, не о погоде и отправленных факсах, — очень удивлялся, как могло уцелеть в современных реалиях столь доброе, честное, чистое и открытое существо.

Увы, чтобы уцелеть в современных реалиях, эльфам приходится работать; ещё чаще — вкалывать. Светлая принцесса Лаириэль, окружённая сиянием нимба золотистых волос, сидела за стойкой между двумя компьютерами и над тремя телефонами. А на воздушную блузку был приколот оскорбительный бейдж, где мелкопаковым иноземным шрифтом значилось: «office-manager», и покрупнее — «Larissa». В её обязанности входило распределять поступившую корреспонденцию, заказывать билеты, бронировать отели, принимать звонки, встречать курьеров, приносить чай или кофе гостям — и множество подобных рутинных задач. А поскольку компания была крупной, то нашей эльфийке приходилось крутиться с утра до вечера. К слову сказать, работала она в конкретном отделе и числилась помощником руководителя, а это — в силу размеров и престижа компании — считалось местом весьма и весьма недурным. Работать таким образом Лаириэль нравилось, а её работа, в свою очередь, очень нравилась непосредственному начальнику. Вероятно, виной тому была эльфийская магия, которую принцесса не использовала, а прямо-таки распространяла вокруг, как сияние, ввиду чего не восхищаться ею было невозможно. К сожалению, как это нередко случается с настоящими эльфийскими принцессами, она искренне не понимала, что в ней может восхищать, и замечала едва ли десятую часть тех взглядов, что предначались именно ей.

- **Елизавета Степанова** родилась в Ленинграде. Окончила филфак СПбГУ. Работала библиотекарем, учителем русского языка и литературы. Первая публикация в альманахе «Воскресение» (Екатеринбург). Живет и работает в Санкт-Петербурге.

---

С другой стороны — когда она всё-таки замечала, что кому-то нравится, это повергало её в глубокую светлую печаль. Дело в том, что в коммерческих организациях, тем более крупных, эльфы встречаются сравнительно редко. Вот и Лаириэль со всех сторон была окружена исключительно людьми, гномами и троллями. Правда, в компании работала ещё пара волшебников — но они, как и полагается, были сказочно древними и вызывали у эльфийки лишь тёплые дочерние чувства — хотя, вписываясь в реалии современного мира, гладко брились, душили лысину и каждый день меняли хрустящие рубашки. Что же до остальных — людей, даже очарованных красотой эльфийки, интересовали в основном хоккей, машины, проекты реорганизации компании, деньги, политика и секс. Ни в одной из этих тем люди не разбирались как следует, а к некоторым и вовсе не имели отношения, но говорили только и исключительно об этом, и чем меньше знали, тем подробнее поучали других. Лаириэль улыбалась им и приносила кофе или чай.

Гномов не интересовали ни политика, ни хоккей, ни реорганизация компании. Ведь всё, что нужно для счастья настоящему гному, — это пиво, мясо и золото. Гномы, в отличие от людей, прекрасно разбирались во всех трёх означенных темах, а потому ни с кем их не обсуждали. Самые успешные гномы хранили круглые суммы в банках, обедали и ужинали в ресторанах, а с пива давно перешли на напитки более благородные и статусные, но гномами от этого быть не перестали. Лаириэль улыбалась им и поддерживала разговор о погоде.

Хуже всего дело обстояло с троллями. Троллей вообще ничего не интересовало, кроме процесса поедания людей и гномов. Понятно, осуществлять такой процесс куда сподручней из кресла руководителя, поэтому истинная сущность тролля раскрывалась обычно с того момента, когда он опускал задницу в поскрипывающее кожаное кресло. В силу специфики сущностных задач многие тролли были женского пола, а в силу высокой должности мужчины-тролли считали ниже своего достоинства заговаривать с какой-то там секретаршей. Лаириэль им просто улыбалась. Причём делала она это совершенно искренне — и в этом-то заключалась её основная отличительная черта.

Несмотря на всё вышесказанное, один тролль как-то возомнил, будто сможет добиться взаимности от эльфийской принцессы. Он причёсывал плешь, говорил банальные комплименты толстыми губами и тонко намекал на шубу и курорты. И даже очень осторожно — на автомобиль, но Лаириэль наотрез отвергла его ухаживания. Никакого другого выхода у тролля не оставалось, кроме как скушать эльфийку. Практической пользы для организма тролля в этом не было, так как офис-менеджер не являлся стратегическим объектом, назначенным на поедание. Но месть — дело святое.

Но тут, к счастью для доброй эльфийки, появился один из мудрых волшебников. Погрозив троллю Волшебным Посохом, означавшим длительную командировку в Вологду, Чебоксары или Сызрань (на выбор), он забрал принцессу в свой отдел, располагавшийся в соседнем корпусе, и с ненавистным троллем Лаириэль больше не виделась.

Для полноты картины, пожалуй, следует упомянуть про орков. Орки, в силу низкого уровня интеллектуального развития, в компании работать не могли. Но они постоянно были неподалёку, так как на противоположной стороне улицы располагался колледж Культуры. Из семейных преданий Лаириэль знала, что

в прежние времена колледж назывался Училищем, и в нём мирно уживались и гномы, и люди, и эльфы, создавая подчас истинные произведения искусства. Но потом времена прошли, а орки размножились — и теперь, даже веря в легенду, Лаириэль старалась не ходить в непосредственной близости от колледжа и в светлое время суток, не говоря уж о тёмном.

Что ж, воскликнете вы, отчего такая очаровательная, умная, расторопная, добрая эльфийка не нашла себе прекрасного эльфийского юношу? Не может быть, чтобы их вовсе не было на свете!

Нет, они были. И одного из них принцесса Лаириэль действительно однажды нашла. Он был образованным, утончённым, одарённым, из хорошей эльфийской семьи — и, естественно, был весьма недурён собой. Он слагал заунывные песни и мог наизусть читать едва ли не всех поэтов Серебряного века, но ужасно оскорблялся, если Лаириэль намекала ему, что стихи стихами и песни песнями, но она хотела бы получить на день рождения хотя бы тушь для ресниц или новые туфли, а на его заработки купишь разве что новые колготки, да и те сомнительного качества. Луноликий эльф с горечью отмечал, что ещё никогда, никогда в жизни ему не попадалась настолько жадная и ограниченная принцесса, ни в грош не ставящая Высокое Искусство. И продолжал с выражением читать ей наизусть стихи, размахивая зажжённой свечой, пока она, стоя на стремянке, меняла перегоревшую лампочку. И брать аккорды на гитаре в такт ударам её молотка, когда надо было вбить в стену гвозди и повесить на них новую полку.

В итоге всё это эльфийке ужасно надоело, и одарённый ухажёр был выставлен за двери родительского замка вместе со своими разговорами о литературе и обтёрханной гитарой, оклеенной вкладышами из жвачек 1990-х годов.

Короче говоря, положение было если и не критическое, то довольно печальное. Эльфы, как известно, стареют очень медленно, но в нынешних реалиях это мало кого волнует, ведь современные девушки смотрятся не в зеркало, а в паспорт, и тем усиленнее, чем более они одиноки. В паспорте у нашей эльфийки в графе «год рождения» цифра стояла, конечно, ещё не критическая, но уже достаточно печальная, в силу чего она, вздохнув, решила посвятить оставшиеся тысячелетия своей жизни служению какой-нибудь светлой и возвышенной идее. Но пока она перебирала в уме возможные варианты, на экраны вышла вторая часть голливудского «Хоббита», и утихшие было подружки по прежним тематическим сайтам, не снимая с глаз огурцов и не отнимая младенцев от розовых грудей, стали настойчиво хихикать, чтобы она перестала ждать своего принца или, там, короля, а нашла симпатичного гномика и зажила бы с ним покойно и счастливо, выбираясь на шопинг в Рим и на отдых в Альпы. Не имея возможности противопоставить хоть что-нибудь веское носителям огурцов и детей, принцесса лишь вздыхала, потягивая предложенный ими полезный зелёный чай. А наутро снова приносила кофе людям, здоровалась с гномами и улыбалась троллям.

И, конечно, она менее всего ожидала, что возьмёт — и в кого-нибудь влюбится. Притом не ласково и созерцательно, как это обычно бывает у неопытных эльфов, а очень даже всерьёз.

Само собой — о чём говорилось выше — она и представить себе не могла, что он тоже может быть в неё влюблён. Увы, так оно и было. Увы — потому что этого счастливец угораздило родиться даже не гномом. Он был байкером. А байкер — это куда хуже, чем гном! Во всяком случае, с точки зрения любого добропорядочно-

го эльфа. Ну да, эльфы тоже порой берутся рассуждать о том, о чём не имеют ни малейшего понятия.

Так или иначе, их симпатия была обоюдной. И именно поэтому они не смели заговорить друг с другом даже о погоде. Они здоровались — смущённо, и столь же смущённо друг другу улыбались. Происходило это обычно на захарканной лестнице либо на пути к вонючим мусорным бакам — в общем, в местах, далёких от любого намёка на эльфийскую романтику. Байкер-Который-Хуже-Гнома жил двумя этажами ниже в квартире напротив. Принцесса даже не знала его имени. А спросить боялась: соседи сразу заподозрят, что нездоровый интерес возник неспроста, и ведь не ошибутся.

Тайну — как и положено в сказках — раскрыл случай. Где-то ближе к концу весны златокудрая Лаириэль проснулась в два часа ночи оттого, что прямо во дворе родительского замка ревели мотоциклы, орали и гоготали всадники. Поскольку весь панельный замок давно уже спал, а майская ночь с бледной шкваркой месяца выдалась тёплой и влажной, слышимость была фантастическая. Лаириэль спросонья испугалась, что их атаковали гоблины или даже целый отряд орков. Но, осторожно отодвинув край занавески и притаившись за горшком с разросшейся геранью, она увидела, что это всего-навсего четыре байкера с двумя пассажирками. Снизу донёсся неслыханной громкости молодецкий посвист, а вслед за ним вопль:

— Ма-а-акс!

И разом взревели два мотора.

Папа-эльф открыл окно в соседней комнате — видимо, проверить, не приставлена ли к стене замка прочная лестница, позволяющая с лёгкостью украсть прекрасную принцессу. А ей из-за горшка с геранью было отлично слышно, как сосед-байкер сперва мягко пожурил товарищей за столь поздний визит, употребив всего-навсего два матерных слова, и прекрасно видно, как он спустя пару минут вышел вниз в кожанке, накинутой на голые плечи. И, белея в свете фонаря майкой, о чём-то с ними переговорил, после чего вернулся в парадное.

Но это ни на йоту не приблизило их друг к другу, о чём Лаириэль догадалась спустя пару дней, когда он бросил торопливое:

— Привет! — и, улыбнувшись, вновь пробежал вниз по лестнице мимо неё. Лаириэль вздохнула и поплелась вверх, домой, уныло думая о том, что Максим-Который-Хуже-Гнома едва ли когда-нибудь обратит внимание на скромную принцессу из приличной эльфийской династии.

Макс, который на тот момент уже мог определить свои чувства к прекрасной соседке вполне конкретно — выражением «неистовый стояк», — тоже уныло думал о том, что с такими чувствами в приличной эльфийской семье он не нужен на фиг.

Так бы, может, и кончилось — ничем в смысле, — но однажды вежливая и аккуратная Larissa с огромным удивлением узнала в одном из членов очередной делегации своего голубоглазого соседа. Он тоже её узнал, и они даже перекинулись парой фраз — «А я вот...» — «И я вот...» — а потом, как положено, заговорили о погоде, но изо всех щелей, дверей и коридоров уже торчали сморщенные человечьи, мохнатые гномьи и большущие тролльи уши. И целый день потом растерянная эльфийка отвечала на вопросы, что же это за стильный молодой мужчина обратил внимание на её персону.

Один только мудрый волшебник не задавал глупых вопросов. Лишь сказал ближе к вечеру, морща усталый лоб:

— Лариса, я заказал для наших партнёров презентацию, а потом банкет.

— Разослать приглашения и программу? — уточнила принцесса.

— Ну, это само собой, — кивнул волшебник. — У нас договорённость на следующую субботу. Я чувствую, что без толкового помощника мне там не обойтись. Это важно, их нужно брать «тёпленькими». Понимаете?

— Ну, конечно...

— Не волнуйтесь, это пойдёт как сверхурочная. Или премией. Как захотите.

Лаириэль была очень предана своему волшебнику — в конце концов, именно он в своё время выдернул беспомощную принцессу из пасти тролля. Поэтому она согласилась без всяких колебаний. Как же забилось её сердце, когда в списке адресов она обнаружила контакт «Klimov\_Maxim»! Оставалось только надеяться, что это его адрес.

Так оно и было. В свою очередь Макс ужасно обрадовался, получив письмо с почтового адреса LarissaMurashova. Но он и мечтать не мог, что увидится с ней на презентации!

Зато принцесса отлично себе это представляла, а потому подготовилась и на встречу явилась во всеоружии — точнее сказать, во всём блеске своей эльфийской красоты. Макс окончательно потерял голову, не запомнил ни единого момента из всей официальной части и с огромным трудом дождался окончания мероприятия. Во время короткого совещания в курилке он активно высказался в пользу заключения договора с компанией, где работала очаровательная эльфийка, и даже веско аргументировал свою точку зрения, употребив слова «креативно», «эффективно» и «рационально». Решение было принято.

Но на банкете — куда гладко выбритый волшебник в ослепительной рубашке, конечно же, пригласил и свою помощницу, — Макс, естественно, не удержался. И после нейтрального разговора о работе стал расспрашивать её о вещах куда более интимных, чем даже погода и любимый напиток. Начал он, как водится, издали: с бутылки, стоявшей в центре стола. И только потом поделился:

— Надо же, а я вообще думал, что вы учительница. Или соцработник.

— Почему? — удивилась Лаириэль.

— Не знаю, — пожал плечами Макс. — Лицо слишком доброе.

— Я тоже не ожидала вас в бизнес-среде встретить, — честно призналась принцесса.

— Из-за моих увлечений? — улыбнулся Макс и фамильярно закинул руку на спинку дивана, где сидела Лаириэль. Улыбка его в окаймлении модной стриженной бородки, обыкновенно смущённая, сегодня была какая-то наглая и самоуверенная. А принцессы, как известно, обладают весьма тонкой душевной организацией: никогда не угадаешь, что им может не понравиться. Особенно эльфийским. Лаириэль смерила дерзкого байкера гордым взглядом и сухо подтвердила:

— Конечно.

Макс в тонкостях эльфийских интонаций разбирался слабо, поэтому нагнулся вперёд и от всей души предложил:

— Хотите, я вас как-нибудь прокачу?..

— Нет, не хочу, — воспитанно отказалась Лаириэль. — Я ужасная трусиха.

— Да бросьте вы! — вмешался в диалог топ-менеджер, наблюдавший за ними с места напротив. — Сколько лет Макса знаю — он ещё ни разу со вторым номером не разложился.

Воспитанная эльфийка стала расцветать красными пятнами.

— Ну, то есть ни одну барышню ещё не уронил с мотоцикла, — вежливо уточнил топ-менеджер. — Так что соглашайтесь смело!

— Нет, спасибо. Мне это в принципе... не по душе.

— Хм, — спросил Макс, — а что вам вообще по душе?

— Вообще — интересуюсь живописью...

— Рисуете, что ли?

— Нет, ну что вы! Стараюсь не пропустить ни одной значимой выставки. Особенно люблю посещать те, что проходят в корпусе Бенуа. А... вы не были?

— А это где? — немного растерянно спросил Максим.

— Да ладно, неважно, — Лаириэль нежно улыбнулась вслед улетающему очарованию. И, чтобы проложить между ужасным неотёсанным байкером и своей светлостью такую пропасть, через которую не перескочит ни один волшебный конь — даже с мотором, даже о двух выхлопных трубах, — торопливо добавила: — А ещё я выращиваю комнатные цветы, хочу выучить язык квенья и мечтаю научиться играть на лютне.

— Круто, — посочувствовал Максим. — А я вот мечтаю в дальнбой махнуть. Вокруг Балтики. Или через Финку в Швецию, например. А там ещё куда-нибудь.

— Но кто ж тебя отпустит, — вкрадчиво вмешался толстый гномообразный субъект слева от Макса.

— Согласен, — вздохнул тот. — Ну или хотя бы летом на пару дней в глубинку куда-нибудь. В лес. С палатками...

— На мотоцикле? — уточнила эльфийка. Но так, чтобы поддержать разговор.

— Само собой!

— Но там же комары...

— Да! — оживился Макс. — Бывает столько, что даже нормально не поспать! Прямо в очко кусают, собаки...

...И это был второй момент, на котором наша сказка имела все шансы закончиться. Но случается и так — даже в нынешних суровых реалиях, что вполне обычные существа из вполне обыкновенного мира вовсе не хотят заканчивать свою сказку на полпути, поддавшись унынию, скуке или дреме. И нет им покоя, пока не написана хотя бы одна сказка в их судьбе — от начала и до самого конца!

А представьте, до чего трудно писать свою сказку, когда все вокруг заглядывают через плечо, то и дело отвлекают, да ещё норовят дать ценный совет!

Но вернёмся к нашим героям. Оба они в тот вечер приехали домой совершенно подавленные и долго не могли уснуть. Макс курил на кухне в открытое окно и думал о том, что он, конечно, идиот, и лучше было говорить только о работе, а теперь принцесса даже здороваться с ним не станет из-за этих дурацких комаров. Лаириэль лежала в кровати в прозрачном кружевном пеньюаре, восхищаясь тем, какой искусный силуэт создаёт на летнем небе разросшаяся герань, и думала о том, что она, конечно, идиотка, и лучше было ограничиться разговором о работе, и уж точно не упоминать язык квенья и игру на лютне.

Утром в понедельник началось самое неприятное. Потянулись вереницей Советчики-Через-Плечо. Люди хлопали Макса по плечу, пачкая потными ладонями его свежую рубашку, и доверительно говорили:

— Остынь, старик, ты же сам видишь, что ты не для неё! Женщина, брат, материя тонкая. Поверь моему опыту! Уж я-то знаю. Не понимает она, в чём истинный

смысл и настоящая радость. Да на хрена она тебе, в конце концов? С ней же поговорить не о чем! Что ты с ней, по музеям шарахаться будешь и картины обсуждать? Скука смертная! Она ж, поди, наверняка и готовить не умеет... Развели, понимаешь, эльфиллигенцию, а теперь расхлёбываем. Красивая она, конечно, но с лица воду, как говорится, не пить. Уж поверь моему опыту!

Знающие и опытные люди отходили, и тогда ближе подвигались гномы. Они шурились в курилке от едкого дыма, пускали его струями и кольцами вверх и энергично мотали головой:

— Нет, старик, остынь! Ты же сам видишь: она не для тебя! Можешь себе представить, во сколько тебе обойдётся такая женщина? Это же настоящая чёрная дыра! Ведь баба — штука статусная. И она, брат, прекрасно это понимает. И она будет требовать у тебя всё, что ей причитается. И цацки, и бирюльки, и тряпки, и шубу, и авто, и курорт. Ты же сам понимаешь, что такую женщину ты в «Матизку» или, скажем, в «Октавию» не посадишь. И, извиняюсь, Египет или, упаси Боже, Турцию ей не предложишь. Неплатёжеспособен — свободен, как говорится. Вот так-то, парень.

Третьими подсаживались тролли. Эти были спокойны, мягки и дружелюбны. Словно невзначай они роняли где-нибудь на обед:

— До чего умно устроена жизнь... Ведь бизнес можно сравнить с тем же рестораном. Администратор — это топ-менеджер. Повара — производство. Официантки — менеджерчики... Их дело — бегать да разносить, а потом собирать грязную посудку... Ну а посудомойка — это секретарша. Вся жизнь из чужих объедков состоит. Да... Каждому, как говорится, своё место в жизни. Сообразно данным, так сказать.

И Макс радовался, что работа давно научила его слушать любых собеседников молча.

С принцессой обошлись ничуть не гуманнее. Ей тоже досталось и от людей, и от гномов, и от троллей — причём, вопреки распространённому заблуждению, почти половину их составляли существа мужского пола.

Люди — полагаясь на свой обширный разносторонний опыт — придерживались мнения, что эльфийка, конечно, давно спит с «этим байкером», и мнение своё активно распространяли. Они жалели бедных эльфийских родителей, сетовали на ужасные нравы современной молодежи и сладко гадали, сделает ли принцесса аборт в случае чего или же нет.

Гномы считали, что эльфийка байкеру отказала, и именно поэтому она законченная дура: упустить такую выгодную партию! Они прикидывали в уме, скольких благ разом лишилась эта курица, блюдущая свою жухлую невинность, и у них перехватывало дух.

Что думали тролли — в действительности — никто не знал. В беседах с людьми они мягко журили тех за неосведомлённость и поясняли, что едва ли у прекрасной эльфийки были интимные отношения с соседом, ведь он, судя по некоторым нашивкам, является членом подпольного байкерского гей-клуба. И именно для того флиртует с барышнями, чтобы отвести от себя всякие подозрения. В беседах с гномами тролли экспрессивно возмущались: помилуйте, какая там невинность?! На самом деле она пассивная лесбиянка, просто в нашем обществе об этом не принято говорить во всеуслышание. В беседах с другими троллями они молча делали мимический жест бровями в сторону двери, за которой распо-



лагался кабинет доброго волшебника, а после многозначительно кивали и удовлетворённо вздыхали, увидев, что другой тролль тоже отлично помнит, что на презентацию и банкет эльфийку провёл именно шеф.

К счастью для нежной принцессы, ей пришлось ответить лишь на несколько идиотских вопросов да услышать пару обрывков из всего, что говорилось за её спиной.

Ну а поскольку никакого продолжения не последовало, разговоры вскоре утихли — и никто, включая даже мудрого волшебника, не мог предположить, что всё самое сказочное именно тогда и началось.

Спустя пару дней Макс и Лаириэль снова столкнулись на лестнице, снова поздоровались, смущённо друг другу улыбнулись — и разошлись. И тут в светлую голову эльфийки пришла сияющая мысль: она, конечно, сказала Максиму о том, что катание на мотоцикле ей не по душе — но ведь она не говорила, что ровным счётом ничего в этой теме не смыслит! А раз так, то...

Естественно, Макс продолжал всё так же привлекать её — влюблённости нет дела до того, о чём рассуждает её объект. И, хотя Лаириэль была практически уверена в том, что после разговора на банкете шансов у неё нет никаких, всё же подумала, что Максиму наверняка будет приятно, если вдруг обнаружится, что она кое-что знает о самом важном увлечении в его жизни.

Принцесса засела за книги. В её комнате, оклеенной бледно-зелёными эльфийскими обоями, заставленной горшками и увешанной кашпо с цветами, появились книги по устройству мотоцикла, тематические журналы и даже неведомо откуда изъятый эльфийской магией засаленный «Учебник начинающего мотоциклиста» 1955 года издания. Принцесса вникала упорно и каторжно, и каждый день становился днём открытий. Очень скоро она уже не путала тахометр с одометром, а также влёгкую отличала чоппер от турера, улавливала тонкую взаимосвязь между лошадьми и кубиками и знала, что отнюдь не каждый горшок рождён для того, чтобы в нём произрастали цветы. И никак не могла сдержать таинственной улыбки, когда мимо неё с рёвом пронеслись кровати с нажопницами.

Постепенно мотоциклы по-настоящему пленили её светлый эльфийский разум. Принцесса с трепетом осознала, что есть огромное количество мелочей, о которых она читает уже в сотый раз, но до сих пор не имеет представления. Очень ли это трудно — ну, к примеру, для слабой девичьей руки — выжать сцепление? Как втыкают передачу? И действительно ли такая большая проблема — поймать нейтраль?

Фантазировать принцесса не стала, а подняла трубку и записалась на пробный урок в одну из мотошкол города.

Домой она вернулась как в тумане. И, проходя мимо двери Макса, лишь растерянно подумала о том, что при случае его непременно надо будет поблагодарить — ведь, как ни крути, это он виноват в том, что её самосознание теперь перевернулось.

Вскоре Лаириэль объявила родителям, что записалась на курс выставок-лекций «Неизвестные сокровища Эрмитажа», и стала исчезать по вечерам — зачем-то прихватывая с собой объёмный рюкзак. А когда на излёте лета в августовскую синь излилась ранняя гуашь заката, брат-эльф внезапно вспомнил, что где-то год тому назад убрал свои гантели и тренажёрный круг в шкаф сестры. И оттуда — надо сказать, довольно больно, прямо принцу на ноги — внезапно выпал шлем в

чехле, а потом ещё наколенники, а потом ещё перчатки. Лаириэль прибежала из кухни на этот грохот.

— Это что? — спросил брат, скорее с интересом, чем с осуждением.

— Защита это, — обречённо вздохнула принцесса.

Брат посмотрел на неё с подозрением:

— Ты что... с этим, который снизу... встречаешься, что ли?!

— Дурак, — отбирая шлем и заталкивая его обратно в шкаф, устало ответила сестра, — я сдала на права и весной покупаю себе мотоцикл. Ясно?

— А...

— А сосед тут ни при чём, — ласково добавила Лаириэль, закрывая дверцу. Подумала и попросила, смягчившись:

— Родителям только не говори...

Что касается Макса, он был точно так же убеждён, что после простецкого разговора на банкете шансов у него нет никаких. Но эльфийская принцесса продолжала являться ему в видениях, и всё больше эротического характера. В конце концов ему в голову пришла примерно та же мысль, что и ей: если уж не светит продолжение знакомства — пусть по крайней мере с его помощью произойдёт что-то, что окажется для неё безусловно приятным. Максиму было в некотором смысле проще: у объекта его страсти увлечений было сразу несколько, и из них можно было выбирать. Язык квенья Максим отверг без колебаний: к иностранным языкам, даже существующим, способностей у него не было никогда. Подумал насчёт живописи — но тут было не совсем ясно, как потом невзначай обнаружить свои свежие сногшибательные знания. Да и вообще, какая в них практическая ценность? А вот при случае слабать что-нибудь на лютне или сунуть принцессе унылый росток в горшке с напутствием «на! это я сам вырастил...» — пожалуй, будет самое оно.

Начать Максим решил с цветов. Он закупил на кассе в магазине «Леруа Мерлен» разноцветных и разновеликих уродцев и стал за ними ухаживать, как умел. Через месяц основная часть их передохла, через полтора окоचурились самые стойкие, и это заставило Макса призадуматься, что он, вероятно, делает что-то не так. Он вторично отправился в «Леруа Мерлен» и купил новых цветов — но на сей раз значительно меньше. Прочитав дома надписи на этикетках, полез в интернет и выяснил, как ухаживать за каждым из них. Следующим шагом (он был роковым) стала покупка иллюстрированной энциклопедии «Комнатные растения». Макс сел читать её вечером, после работы — и всю ночь в его окне горела лампа и летела на свет мошкара сквозь открытую на проветривание фрамугу стеклопакета. Утром Макс, сполоснув лицо холодной водой, шёл на работу, стыдясь своих новых мыслей и испытывая от них одновременно жгучий кайф.

В ту же неделю он незаметно оторвал лист у тощего денежного дерева на подоконнике в бухгалтерии, потрогал землю пальцем и строго спросил у бухгалтера Анечки, штамповавшей ему договор для клиента:

— Ты каждый день его поливаешь?

— Естественно, — с некоторым возмущением отозвалась Анечка. — Каждый вечер, перед уходом.

— Ты что! Это же суккулент...

Анечка так и замерла с поднятой печатью.

— Их нельзя поливать слишком часто, — продолжил Максим.

— А как можно? — оправившись от шока, спросила Анечка.

— По мере подсыхания верхнего слоя почвы...

Заныканный листок быстро укоренился и дал отросток, и к осени на подоконнике Максима уже зеленела парой соблазнительно толстых листиков молодая крассула. К тому времени на том же подоконнике славно уживались белая орхидея, два кактуса, купленная в переходе у бабули детка алоэ, разноцветные фиалки и каланхоэ. С первыми днями августа Макс после долгих колебаний решил завести розы. Первая попытка провалилась: он по неопытности пересадила их сразу же, кое-как, и розы погибли. Вторые Макс рассаживал уже со всеми предосторожностями, но из пяти кустиков, втиснутых в магазине в один горшок, выжили только два. Однако Максим довольно скоро разгадал и в их молчаливой статике, что розы не собираются в ближайшее время радовать его ни свежими яркими листочками, ни тем более цветами. Порывшись в своей энциклопедии, он начал еженедельно подкармливать и ежедневно опрыскивать капризные цветы — но розы всё равно балансировали на грани жизни и смерти. Терять розы было жаль, и Максим задумался о фитолампе...

Помимо этого, его голову всё чаще посещала мысль о лютне. Он понимал, что, конечно, сбрендил — но уж очень было бы интересно... нет, не научиться — а так, хотя бы разок попробовать, как оно: играть на этом инструменте. Какие на лютне струны — такие же, как на гитаре? Можно ли играть без медиатора? И вообще, как она звучит?

Весело закрыв с друзьями мотосезон, уже через две недели Максим сидел в холодном длинном помещении с высоким потолком, стыдливо поджимая ноги в казаках, залепленных жидкой грязью, и слушал худого, прямого, как палка, и абсолютно лысого старика с ловкими пальцами фокусника:

— Лютня, молодой человек, инструмент элегантный, инструмент, так сказать, олицетворяющий собой, в некотором роде, европейскую музыку эпохи Возрождения. Свою конструкцию, а также название, лютня получила от арабского уда, который был завезён в Европу во времена мавританского владычества на Пиренейском полуострове... Это щипковый инструмент, то есть звук из него извлекается, как вы уже поняли, с помощью пальцев...

С первым же тихим звуком, вылетевшим из-под пальцев старого волшебника, Максим понял, что пропал. Шагая домой по скользким раскисшим листьям, он увидел, как горит тёплый жёлтый свет в эльфийском окне, и рассеянно подумал, что при случае надо будет непременно поблагодарить эльфийскую принцессу. Ведь она, как ни крути, причастна к тому, что в его жизни произошли такие внезапные перемены.

Так окончилась нудная осень, отбелела скупыми снегами зима, и нехотя настала весна. Городская весна ужасна, как солнце в доме алкоголика: содрала хилую завесу снега, выпячивает всю грязь, которую земля успела накопить за месяцы снегопадов и вьюг. И когда в теневой стороне под домами сдулись последние почерневшие сугробы, на парадных выросли листья, возвещающие о субботнике и предлагающие всем желающим превратить свой оттаявший двор в оазис весенней чистоты.

Папа-эльф идеей загорелся, и с утра в субботу вся светлая семья отправилась в ЖЭК, где получила щербатые веерные грабли и мешки для сбора мусора.

— А перчатки? — наивно спросила практичная мама-эльфийка.

— Кончились!

На газоне возле их парадной артритно скреблись две старушки. А на газоне у соседней парадной орудовал граблями Максим. Он был в свитере грубой вязки с высоким горлом, а волосы романтично забрал на затылке в хвост. Увидев его, Лаириэль внезапно вспомнила, что так и не отблагодарила соседа за метаморфозы, которые произошли в её жизни за последний год. Настроение было страшное, весеннее, поэтому Лаириэль крикнула ему прямо тут, при всех:

— Привет! Сезон-то как, открыл?

— Нет ещё, — Макс опёрся о грабли и поглядел на эльфийку как-то странно, с хитринкой. — А ты на лютне играть научилась?

Лаириэль остановилась. Папа-эльф остановился было тоже, но практичная мама увела его за собой на газон.

— Нет, не научилась, — призналась Лаириэль. — Честно говоря, я почти об этом забыла. Хорошо, что ты напомнил! А ты на природу выбрался в итоге? С палатками?

— Выбрался, — кивнул Макс, не сводя с неё ярко-синего взгляда. — Приколотно так было! За Вуоксу ездили в августе с пацанами. Ну, с коллегами моими. Ты их видела. Грибов было-о!.. А в этом сезоне не знаю, получится ли. Ребята — не факт, что смогут. А одному ехать — совсем не то...

Лаириэль улыбнулась ему и прошла к своему газону, исполненная светлых надежд на будущее.

— Надо же, кто бы мог подумать, — сказала мама-эльфийка, — байкер, и вдруг заботится о чистоте двора. Фантастика какая-то! — и строго посмотрела на сиятельную дочь.

— Я склоняюсь к мысли, что стремление к красоте и гармонии, равно как и стремление к природе, заложено не только в эльфах, — ответила принцесса. — Так что не вижу ничего удивительного...

Субботник прошёл, и большие белые листки на дверях дома сменились на маленькие жёлтые: «Уроки игры на ЛЮТНЕ для начинающих. Первый урок бесплатно! Максим». Увидев это объявление в понедельник вечером, Лаириэль встала под дверью, как вкопанная. Конечно, она и думать забыла о прежней своей мечте — какая там лютня, если буквально через несколько недель она купит себе мотоцикл и будет с музыкальным рёвом рассекать по улицам родного города?.. Но имя, указанное в рекламе, намекало слишком явно, что, если уж первое занятие бесплатно, то... можно и попробовать, в конце концов!

Весь вечер эльфийка просидела у окна в чутком дозоре. Едва завидев, как Макс, закинув за плечо рюкзак со шлемом, шагает через двор в распахнутой куртке, она подхватила заготовленный пакет с мусором и помчалась по лестнице вниз. Бежала она так резво, что встреча произошла у самых почтовых ящиков.

— Привет, — застенчиво поздоровалась принцесса, — это, случайно, не ты объявления расклеил про лютню?..

...В следующий вечер ужасный байкер был допущен непосредственно в родительский замок. Пройдя строжайший эльфийский фейс-контроль, он вместе со своей лютней прошагал из прихожей в глубь замка — но не в опочивальню принцессы, на что он, конечно, втайне надеялся, а в гостиную, где его поджидала вся династия в полном составе. Макс вежливо поздоровался и сел на отведённый ему табурет.

— Лютня, — начал он, поглаживая рукой гриф инструмента, — самый прогрессивный и, я бы сказал, интерактивный инструмент эпохи Возрождения. В Европу он попал... в общем, не совсем легально — через арабов. Чтоб не судиться с шахидами за интеллектуальную собственность, европейцы его проапгрейдили, сменили торговую марку и выдали за своё. Продукт — ну, то есть, инструмент — вышел настолько креативным, что висел в топах аж несколько веков подряд. Да. Хотя сейчас это, конечно, уже винтажная тема. Но винтаж нынче в особой цене. А теперь — давайте я наконец продемонстрирую вам, как она звучит...

— Какой образованный молодой человек, — заметила мама-эльфийка, когда урок был окончен и Макс ушёл. — И с каким тонким чувством юмора! Кто бы мог подумать: байкер, и вдруг владеет таким... возвышенным инструментом, как лютня!

— Был у нас уже один возвышенный игрун, — хмуро напомнил папа-эльф.

А принцесса засмеялась. Играть на лютне было, конечно, интересно — но она не согласилась бы на продолжение обучения, если бы уроки вёл не Макс... Макс постиг эту ослепительную истину приблизительно одновременно с правящей четой эльфов. Уловив боковым зрением опытного мотоциклиста, что вполне мирный дотоле обоз родительской любви, пыхнув праведным гневом, вот-вот заскрежешет, рванётся вперёд и перестроится прямо в него, мгновенно среагировал на ситуацию и красиво ушёл от столкновения, пригласив всё семейство в свою скромную келью двумя этажами ниже.

— О Боже, Максим! Какие у вас чудесные цветы! — всплеснув руками, воскликнула мама-эльфийка, и её сердце растаяло. — Это всё досталось вам в наследство?

— Нет, — скромно ответил ужасный байкер, опуская глаза, — это всё я сам.

— О, вы даже фитолампу установили! — поразилась мама.

— Да нет, это обычная лампа, — пояснил Макс. — Фитолампы непропорционально дорогие. Я просто купил плафон, подобрал по цвету лампы, потом выпилил стойку из доски, ну лаком её покрыл в три слоя... Лампы вставил, таймер подключил... Ничего сложного. А хотите, и вам такую сделаю?

Тут растаяло сердце и у папы-эльфа. А Лаириэль любовалась расцветающей на подоконнике Макса белой розой и думала о том, что она, без сомнения, очутилась в сказке.

Вскоре после этого наши герои перешли на «ты», а уроки игры на лютне плавно перенеслись в покои принцессы. И, хотя всё давно уже было ясно, Максим и Лаириэль продолжали по очереди истязать ни в чём не повинную лютню и смущённо друг другу улыбаться: в конце концов, дверь-то в комнату оставалась открытой. Так и шло, пока однажды принцесса не спросила, как бы между прочим:

— Макс, слушай, а ты не сможешь мне выбрать байк?..

— В смысле — байк?..

— Ну... первый байк... Для начинающих... Я, вообще-то, уже год почти на него коплю. На права вот сдала ближе к осени...

Макс охренел. Потом покраснел. Потом отложил лютню и встал.

— Слушай... Тут, это... такое дело... может, поженимся лучше, а?

Спустя ещё полтора месяца принцесса подловила момент, когда папы-эльфа не было дома, и вошла на кухню, перекрыв маме пути к отступлению и к телефонам.

---

— Мам, у меня к тебе серьёзный разговор.

Мама-эльфийка качнулась и поплыла в волнах тумана на жёлтый маяк пузырька с валерьянкой.

— Ты узнала, что беременна, и Максим тебя бросил...

— Мы с Максом расписались, купили второй мотоцикл и завтра уезжаем в свадебное путешествие по лесам Карелии. А цветы остаются, и их надо будет поливать, а то засохнут. Вопросы будут, или всё ясно?

— Всё ясно, — сказала мама и опустила на стул посреди кухни, так и не доплыв до пузырька. — А... кто же поедет на втором мотоцикле?..

...Вот так и сложилась эта удивительная сказка, а точнее сказать, её начало. Ведь, как и полагается героям добрых сказок, байкер и его эльфийская принцесса жили очень долго и очень счастливо, исколесили множество дорог и даже ни разу не попадали в серьёзные аварии. А к осени непременно возвращались назад, в город: ведь в сентябре начинался новый учебный год по классу лютни — сперва у Максима, а потом уже у его учеников.

С родителями тоже ничего страшного не произошло. Папа-эльф, допивая последние таблетки из спасительного маяка, правда, всплакнул и сказал, что дочь у него — настоящая принцесса, со всеми вытекающими безрассудными поступками. А принц, соответственно — надёжная опора их с матерью незаметной, но уже ощутимой эльфийской старости. Принц, тихо выждав для верности ещё неделю-другую, заботясь о престарелых родителях, незаметно подменил опустевший пузырёк валерьянки полным пузырьком пустырника. И тогда только сообщил, что пример сестры научил его не бояться своих дерзких желаний, а потому он уже две недели как уволился с работы, где прозябал в должности рядового дизайнера, и, следуя зову сердца, устроился работать по специальности, а именно — преподавать академический рисунок молодым оркам в небезызвестном колледже Культуры.

И, надо сказать, дела у него пошли преотлично. Юные орки женского пола поголовно повлюблялись в недоступного эльфийского принца, перестали прогуливать пары и начали стараться, ввиду чего у них повысилась успеваемость и в работах появились даже отчётливые намёки на художественность. А эльфийский принц терпеливо клеил для своих милых учеников пирамиды, кубики и конусы из прочного картона взамен тех, которыми орки кидались на занятиях, стоило только принцу отвернуться. И ощущал себя самым счастливым эльфом если не на земле, то по крайней мере в своём сказочном королевстве.

Вот такая получилась сказка. Только не пытайтесь, Бога ради, её повторить! Это может быть опасно — как минимум для психики ваших родителей. Лучше напишите новую, свою собственную. Ведь для этого нужно всего-то ничего: не слушать ни «всезнающих» людей, ни жадных гномов, ни хитрых троллей и мечтать лишь о том, чтобы самый далёкий и самый близкий друг улыбнулся от радости, невзначай разговорившись с вами.

---

Елена  
ГОГОЛЕВА

## СТИХИ

### В ДОРОГЕ

На небесах апрельского стекла  
Слезилось солнце, набирая градус.  
В автобусе судьба меня влекла  
Менять пейзажи, собирая радость.

Твоя рука была почти тепла,  
Спокойно было и совсем не грустно.  
Сосуществовали души и тела,  
Но жизнь давно текла по разным руслам.

Ты говорил, молчанья не задев,  
О детстве, и рисунком разговора  
Был рыжий кот в полуденной воде —  
Весёлый плод на дереве забора.

Текла весна, тёк день, и облака  
Текли над лужами расквашенной дороги,  
Текущая весна была легка,  
Не задержалась в обмелевшем диалоге.

\* \* \*

На край скамейки сдвигая, старость берёт в полон:  
То костыль предлагает, то кислородный баллон.  
Не таралетку к обеду — таблетку даёт запить.  
Да знаю, что с ярмарки еду, чего уж там говорить...

Поплавав в житейских волнах, осваиваю берега,  
Не пью уже чашей полной, быка не беру за рога...  
Старость несовременна — не тот уже стиль и крой,  
Не попадаешь в стремя, не поспеваешь в строй...

Не буду биться об стену, вести разговор пустой,  
Сосудам искать замену (а то, мол, навар густой...)  
К финалу готовя сцену, рецепт применю простой:  
Не жадно, но вдохновенно капаю внутривенно,  
Капаю внутривенно жизни хмельной настой...

• **Елена Гоголева** родилась в 1946 г. в Магадане в семье учителей. После окончания Московского государственного пединститута им. В. И. Ленина с 1972 г. работает на кафедре русского языка Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан), канд. филологических наук, доцент. Автор поэтического сборника «В сознании минутной силы» (2006).

## ТЕХНОЛОГИЯ САМООПРАВДАНИЯ

«...Я не богач, не царедворец,  
Я сам большой: я мещанин».  
*А. С. Пушкин. Моя родословная*

Мещанствую в местечке Магадан:  
Хожу на службу, в магазин и в гости,  
Мой городок не древен по годам,  
Но умудрён, как ивы на погосте.

Неплохо жить в местечке Магадан:  
С утра — на службу, а под вечер — в гости,  
Где к пиву подают не лабардан,  
А корюшки проявленные грозди.

Мещанский берегу менталитет,  
Стремлюсь артикулировать банальность,  
И по утрам бреду на факультет,  
Где разбираю слов универсальность.

Витийствую в местечке Магадан,  
К Европам перекидывая мостик.  
При вас, Бодлер, топтали макадам,  
А мы всё чаще ближних топчем кости.

Но право первородства не отдам  
За порцию похлёбки с чечевицей —  
Мещанствовать в местечке Магадан  
Не проще, чем в Монрё или в столице.

\* \* \*

Зимой ослабевают плоть  
И ближе к смерти...  
Я стыну на ветру, Господь,  
Но твой ли ветер?

Твоя ли прижимает длань  
К остывшей тверди?  
Нет даже эха... Дело дрянью..  
А ветер вертит...

\* \* \*

Зима — колымское время. Календарям не верь:  
Пять месяцев — снежное бремя, во льду октябрь и апрель.  
Колымская непогода стабильнее всех погод:  
Зима не даёт прохода, все средства пуская в ход.



Вот ветер, воющий люто... Не спорьте с ним — не пуглив  
этот сеятель смуты и вдохновитель пурги.  
Он дуть готов по полгода, весь город — сплошной сугроб.  
Он снег загоняет в горло, почти загоняя в гроб.

Зима никогда не уходит из наших неужных мест.  
Она покидает город, но остаётся окрест:  
В распадках и на вершинах шершавый зернистый снег  
Тальими лоскутами свой продлевает век.

Зима постоянно с нами, а лето — как повезёт:  
Находит коса на камень, когда ты хотел на взлёт.  
И вместо тепла и света приходит туман и дождь,  
Тогда колымское лето и летом не назовёшь.

Июль согревает спины несколько дней в году.  
Сезон не кажется длинным? Да ладно, не негодуй!  
Зато небеса просторны свечением без границ,  
В пейзажах морских и горных — размах для людей и птиц.

Здесь жизнь тяжелей и проще, мыслящий мой тростник,  
Но в мегаполисных рощах ты бы уже поник.

.....  
Кончатся белые ночи, скоро придут снега,  
И северный ворон хохочет над ропотом тростника.

#### МАРТ

Уходит тёмный снег,  
        уходит соль зимы,  
                уходит ощущений охлаждённость...  
Ни грошика в казне, тепло берём взаимы  
        в надежде на весеннюю влюблённость.

В сезонных холодах мы накопили лёд,  
        и он преграда нежности ответа,  
Мы с сердцем не в ладах, но, может, март прольёт  
        в нас правоту нахлынувшего света.

Согревшись, говорим: «Беги, ручей, беги!...»  
        Мы обошлись без боли и стенаний.  
Смываем зимний грим, простив себе долги,  
        стираем зимний стыд воспоминаний.

Учительницу начальных классов, Александру Ивановну, все в посёлке считали старой девой. Но было это не так. До войны жила она с семьёй в деревне. Сына и мужа потеряла почти одновременно. Вот тогда и уверовала в народную пословицу: пришла беда — отворяй ворота! Какая из потерь была горше, уж и не помнила теперь. Похоронку читала, держа на руках годовалого ребёнка, задыхающегося от дифтерии.

После войны переехала жить в посёлок и старалась больше воспоминаниями не беречь душевную рану. Решила всю себя посвятить благому делу воспитания детдомовских детей, каких в послевоенные годы было в стране немало. Квартиру в деревянном двухквартирном доме ей дали сразу. И даже дровами обеспечивали бесплатно. Близких подруг, которым бы можно душу открыть, у Александры Ивановны не было. В кино ходила с одинокими коллегами, с которыми общались по имени и отчеству, без вольных откровений. Среди учителей её круга сдержанность в чувствах считалась хорошим тоном.

Обычно из школы возвращалась не спеша, словно хотела впитать в себя всю красоту окружающего пейзажа. Особенно любила осеннюю пору, когда притулившийся меж высоких холмов посёлок весь утопал в ярких разноцветных кленовых листьях. Отвечая на приветствия односельчан, слегка склоняла голову. Делала это достойно, красиво, как и подобало её положению. К педагогам селяне относились уважительно. Им учтиво кланялись, узнавая по походке издали. Александра Ивановна принятым учительским манерам не изменяла. Строгая осанка, гордо поднятая и чуть закинута назад голова. В одной полусогнутой руке — сумка с тетрадками, в другой — сетка с нехитрыми продуктами. К тому же домой шла без особой радости. Вот уж много лет с ней жила больная матушка. С постели та не вставала, а последнее время и вообще умом тронулась. Не давала спать по ночам. То гоняла каких-то выдуманных ею мужиков, прятавшихся якобы под кроватью дочери, то жаловалась кому-то на то, что ей не дают есть. То среди ночи требовала посадить её в подушки. И прихоти эти

• **Надежда Васильева** – автор пятнадцати книг, вышедших в различных российских издательствах. Ее произведения печатались в московских и региональных журналах и сборниках, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции. Лауреат республиканских, всероссийских и международных литературных премий («Сампо», «Добрая лира», «Русский стиль», «Славянские традиции», премия журнала «Север»), финалист Международной Бунинской премии (2013), Международного конкурса им. С. Михалкова (2014). Возглавляет Карельское представительство Союза российских писателей.

---

с каждым днём учащались, скрипучий голос набирал силу. Измученная бессонницей, Александра Ивановна стала уже прикрикивать на мать, чего раньше себе никогда не позволяла. Так и было бы для неё небо с овчинку, не появившись в её жизни мужчина. Сначала как работник. Нанялся распилить и расколоть дрова. Делал он это ловко. Александра Ивановна даже однажды залюбовалась им из окна. Пригласила на обед. Он сказал, что приезжает в посёлок из соседней деревни на мопеде. Много чего о себе не рассказывал. Поняла только, что живёт он один, из семьи ушёл давно. Признался, что слабость имеет, выпивает. Иногда, мол, и по неделе из запоя выйти не может. А потому на работу его не берут. Вот и перебивается случайными заработками. По профессии военный, старшина сверхсрочной службы. Но из армии ушёл. И тоже по известной причине.

Откровенные признания его Александру Ивановну, как ни странно, расположили. Большого значения она им не придавала. Не детей крестить. А дрова пилить нанять некого. У младшего брата, что жил с семьёй в посёлке, своих забот полно.

Когда дрова были распилены, расколоты, уложены, и пришло время расставаться, в сердце у Александры Ивановны что-то ёкнуло. Больно глаза у работника были добрыми. Придумала другую халтуру. Благо мужских дел у одинокой женщины всегда выше головы. Так и прижился у неё Николай. Сначала спал в комнате больной матери. Ухаживал за ней по ночам. И матушка Александру Ивановну уже не беспокоила. Потом, дело житейское, к ней в комнату спать перешёл. Начались для Александры Ивановны райские денёчки. Прошёл месяц, другой. И стала она подумывать, что снизошла на неё, наконец, Божья благодать за всё пережитое ею горе. Но ошиблась. Однажды Николай предложил:

— Давай, Сашенька, я за хлебом схожу. Давно уж в посёлке не был.

От неожиданности она даже вздрогнула. А с другой стороны, не в тюрьме ведь сидит. Дала деньги и на хлеб, и на тушёнку, и на молоко.

— Я быстро, — глядя ей в глаза, пообещал он. А у неё недоброе предчувствие зажало сердце железными клещами. Накликало беду.

Николай не появлялся целую неделю. Под глазами у Александры Ивановны образовались чёрные круги. Расспрашивать о нём людей стеснялась. Искать его тоже стыдно было. Учительница ведь. Что люди скажут?

Матушка своим нытьём да капризами так доставать стала, что Александра Ивановна на неё уж и ногами топала. Да как же? Всякую околесицу несла. И черти-то ей виделись, и отец, который умер много лет назад, и какие-то солдаты с лопатами чудились. Ни часу ночью спокойно поспать не давала. Александра Ивановна лицом вся осунулась. В глазах появился нездоровый блеск. Посоветовалась с коллегами. Те предложили сонные порошки матери давать. Изведёт, мол, она Вас. Вы на себя в зеркало взгляните!

Порошки помогли. Больше до утра мать её не беспокоила. Однако не спалось ей уже теперь от мыслей о Николае.

И как-то под вечер он вернулся домой. Пошла помойное ведро выносить, глядь — сидит на крыльце. Весь исхудавший, небритый, грязный. И в глазах столько вины.

— Прости ты меня, Сашенька! Прости, свет Ивановна! Говорил я тебе, водится за мной грешок.

А у неё все слова, как мыши в трухлявое сено, куда-то попрятались. И мысли скачут, словно в чехарду играют. Видя её замешательство, ведро с помоями перехватил и, будто бы ничего и не случилось, о матери стал расспрашивать. Она молчит, взгляд потупив. Тогда он на колени встал:

— Ничего ведь худого в голове не держал, когда деньги давала. Ей Богу! Поверь! Думал, куплю продукты и быстренько обратно. А как до чайной-то дошёл... да увидел, как мужики пьют... — в голове помутилось. Дай, думаю, полстаканчика пропущу и... бегом домой. Не с твоих денег. Мужики сами предложили. Я их тоже как-то раз с халтуры угощал. — Тут он замолчал, опустил голову, как провинившийся школьник. — А как вино-то внутрь попало — пропал я! Не остановиться. Тут и твои деньги в ход пошли. И не помню потом ничего: где спал, что пил, чем закусывал?.. Сегодня вот очнулся и в ужас пришёл! Решил пойти к тебе, повиниться. У тебя же душа добрая. Накажи, но только не выгоняй. С утра до ночи буду по дому работать. Пожалей ты меня, не дай пропасть!

Простила. И снова душа под небесами гуляла!

И снова в доме запахло пирогами. Приятельницы многозначительно переглядывались: «У Александры Ивановны гости». И визитами не донимали, даже если в посёлок привозили новый «сногшибательный» фильм. А «гость» пилил и коллол дрова, перекапывал огород, что-то мастерил в сарае. Глаза соседям не мозолил. Александра Ивановна строго за этим следила. И упивалась своим счастьем, словно последний день на свете жила.

Но однажды, вернувшись домой с работы, дома Николая она не застала. Без сил опустилась на диван, не раздеваясь. И долго смотрела во двор невидящим взглядом. Идти искать его среди бела дня — было выше её сил. Пришлось брата, Михаила, просить:

— Ну что тебе стоит? Прокатись по посёлку на мопеде. Может, где в канаве валяется...

Чертыхался, но искал. Понимал, как тяжело ей одной с больной матерью жить. Приводил и притаскивал Николая всякого. Она воды нагреет, в ванной отмочит, мочалкой натрёт, в бельё чистое, ещё от мужа оставшееся, оденет и чай с малиной в постель подаёт. А то и в чашку подует. Смотрит, как он чай-то пьёт, и на себя диву даёт. Чем в душу запал?! Было чем! Глаз ласковых таких ни у кого из её кавалеров не было. И называл её не иначе, как «свет Ивановна». От взгляда его лучистого всю аж током насквозь прошибало. И на утро вся сияла, ярче начищенного самовара. В школу идёт — земли под ногами не чувствует. И с работы несётся домой так, что шаги за душой не успевают. Конечно, шила в мешке не утаишь. И по посёлку слухи ползли. Брат не выдержал, упрекать стал: «Зачем себя позоришь? Зачем с пьяницей связалась? Обкрадёт когда-нибудь, будешь знать!» Тогда она все вещи дорогие, что в доме были, брату и отнесла. «Пусть у вас, целее будут. Да и не нужна мне роскошь эта!» Тот только головой покачал: «Сумасшедшая!»

А у Николая запои, как по расписанию, в конце каждого месяца. Коллеги подтрунивать стали: «Ваш работничек в конце месяца недельный «отпуск» берёт?» — «Его дело!» — тряхнула головой она. Приятельницы переглянулись, но донимать не стали.

Стоял ноябрь. С неба уже сыпалась снежная крупа. Александру Ивановну проняла нервная дрожь. Если не найти Николая, очочурится ночью. Остановилась у продуктового магазина, за которым грудились пустые коробки. Потянула носом воздух, как хорошая собака ищейка. Колькой пахнет! Здесь он приютился. Но ведь не будешь посреди бела дня в коробках рыться. И мысли подтачивал один вопрос: что делать? Осторожным взглядом медленно обвела весь поселковый центр: аптеку, автобусную остановку, закрытый на ревизию книжный магазин, столовую. И тут в поле зрения попала невестка. В душе безумно обрадовалась Богом посланному случаю, но внешне виду не подала. Поставив сетку на крыльцо

магазина, эффектно подняла руку, чтобы невестка заметила её. Поговорив о том, о сём, как подобает этикету, оглянулась по сторонам и, понизив голос, доверительно сообщила:

— Вер, Колька-то мой опять запил. Третий день где-то околачивается. — И перешла на шёпот: — Думаю, за магазином в коробках ночует. Сходи, посмотри, а?!

— Да ну, Александра Ивановна! Не может такого быть! Ночи уж холодные.

— Вот в том-то и гвоздь! Ему ведь, пьяному, — море по колено. Чует душа моя: там он!

Вера, простая душа, вздохнула, но пошла. Однако вернулась очень быстро.

— Не видно.

— А я говорю там! — настаивала Александра Ивановна. — По запаху чую. Это от него так смородом несёт! Откинь коробки-то в сторону, увидишь!

Невестка снова скрылась за магазином. Александру Ивановну кинуло в жар. Вдалеке замаячила высокая фигура бывшей учительницы Екатерины Семёновны. Сейчас предложит до дому вместе идти. Жила недалеко по соседству. Чопорную приятельницу эту Александра Ивановна недолюбливала. Больно любила та всех осудить. Господи! Да что ж там Вера-то застряла? Посмотреть ведь только просила!..

Невестка подошла к ней вся возбуждённая.

— Александра Ивановна! Ваша правда. Там он! Никакой!

У неё ноги ватными сделались. И сказать не знает что.

— Вера! Попроси Мишу, пусть в сумерках его приведёт. Ведь простудится, несчастный!

Та опустила голову.

— Сказать-то скажу, но не знаю, пойдёт ли. Сердится он на Вас.

Сказала и быстро зашагала прочь. Тоже, видать, осуждает её. Ну и пусть!

Александра Ивановна только тяжело вздохнула, да так, словно вагон кирпичей разгрузила. Потом взяла себя в руки. По привычке трянула головой, поправила взмокший локон выющихся волос и гордо понесла себя по асфальтовому тротуару. Сделала вид, что Екатерину Семёновну не видит. Но та окликнула её. Пришлось остановиться, подождать, хоть меньше всего на свете ей сейчас хотелось общаться с кем-нибудь, а уж тем более с этой сварливой женщиной.

— Ох, нехорошо старых друзей забывать! — громко начала причитать та. — Так давно не виделись! Хоть бы заскочили как-нибудь вечером, как прежде, чаю попить.

— Тетрадей много. Да и матушку как оставишь? И так целыми днями одна.

— Да не лукавьте Вы, Александра Ивановна! — поела её глазами коллега. — Давно хотела поговорить с Вами на эту тему. Не к лицу Вам, учительнице, с пьяницей свою жизнь связывать. Знаете, что про Вас в посёлке говорят?

— Не знаю и знать не хочу! — отрезала Александра Ивановна. А у самой всё в глазах так и помутилось.

— Зря! — поучительно изрекла та. — Вас ведь раньше так в посёлке уважали! А теперь!.. Уронили Вы своё достоинство. А ведь какие мужчины за Вами ухаживали!

Александра Ивановна молчала. Понимала, на что та намекает. Вдовый племянник её, проректор пединститута, к ней сватался. Какие только подарки ни привозил. Она не брала. Не хотела надежду подавать. Не нравился — и всё тут. Почему-то терпеть не могла, когда у мужика во рту зубы золотые! Долго потом на неё Екатерина Семёновна за племянника сердилась. И вот пришёл случай «отплатить».

---

– Не обижайтесь на меня, Александра Ивановна! Я старше Вас. Имею право правду сказать. Больно мне видеть, как над моей подругой весь посёлок смеётся!

Остановившись у своего переулка, Александра Ивановна с учтивой вежливостью поблагодарила:

– Благодарю Вас за «правду» Вашу! И рада бы внять доброму совету, да сердцу не прикажешь. До свидания!

Повела плечами, словно скинула с себя чью-то давящую руку, и пошла к дому натоптанной тропинкой.

И всё же «прививка» эта своё дело сделала. Целый вечер размышляла над словами бывшей приятельницы. Задели самолюбие. Прислушивалась к каждому звуку во дворе. Ждала, что брат хлопнет калиткой, приведёт Николая. Стрелки на ходиках уже перешагнули цифру десять. Взглянула на термометр, что висел за окном: семь градусов мороза. Задёрнула шторы. С ногами уселась на диван, укрылась пледом и замерла. Сколько сидела так, трудно сказать. Но тут почувдилось, что кто-то скребётся в оконное стекло. Колька! Кто ж ещё! И сердце радостно забилося. А в ушах скрипучий голос Екатерины Семёновны: «Больно мне видеть, как над моей подругой весь посёлок смеётся!» Встала, выключила свет и снова села на диван, поджав под себя ноги. Не открою! Пусть идёт, куда хочет! Сколько можно надо мной издеваться? Сколько можно нянчиться с ним?

В палисаднике раздалась чьи-то неуверенные шаги, затем что-то глухо ухнуло. Упал, наверное. А ну его! Встанет. Найдёт, где отлежаться. Поднялась, растёрла затёкшие ноги, разобрала постель. Дала матушке сонных порошков. Вместо одного — два. Чтоб хоть та не доставала. Опять стала ночью часто просыпаться. Никакого покоя от неё. Себе валерьянки накапала. И легла. Но какая-то тревога за Николая не проходила. Как могла, успокаивала себя. Что извожусь? Сарай открыт. Там много всякой ветоши. Однажды уж ночевал там. Догадается укрыться. Не маленький. Prospится, а потом видно будет...

И первую ночь крепко спала. Утром первым делом заглянула к матери в комнату. Да так и обомлела. Глаза у матери были открыты и недвижимы.

Упала перед ней на колени:

– Мама! Мамочка! Прости!

Метнулась во двор. Хоть бы Колька помог, что ли! Открыла сарай. Но, похоже было, что туда никто не заходил. Где же он?! Куда подевался? И вспомнились ночные звуки в палисаднике. С замирающим сердцем побежала туда. Николай лежал под кустом красной смородины, неуклюже распластав руки по замёрзшей земле. Кинулась к нему, схватила за плечи и тут же отдёрнула руки от закочевшего мёртвого тела. И услышала чей-то истошный, будто нечеловеческий вой. Сначала показалось, что исходит он со светлеющего неба. Испуганно таращилась на блеклые звёзды, пока не поняла, что звериный звук этот вырывается из её собственной груди.

Всё, что происходило дальше, созерцала равнодушно, будто смотрела старое глухонемое кино. Когда её о чём-то спрашивали, отвечала машинально и односложно. Всю похоронную суету взяли на себя брат с невесткой. На поминки, что организовала Вера, не пошла, сказала, что плохо себя чувствует.

А дома достала из шкафа материну икону, зажгла перед ней свечу и, как подобает в таких случаях, встала на колени. Но не молилась, не каялась, ни о чём не просила. Просто смотрела в глаза Спасителю и всё! И даже не думала ни о чём. Если бы кто в этот миг взглянул на неё со стороны, решил бы, что окаменела навеки.

---

Ефим  
ХАЗАНОВ

## СТИХИ

\* \* \*

В ту ночь под каплю фонаря,  
В пятно чахоточного света  
Вошёл я из шального лета  
В сырую скуку сентября.

И при фонарном том столбе,  
Где пахли ржавчиною лужи,  
Стоял я никому не нужный —  
Ни осени, ни сам себе.

Дождь этой ночью отдыхал,  
Гром не гремел басово в трубы,  
И я, облизывая губы,  
Лишь капли редкие вдыхал.

И мне шагнуть бы дальше в ночь...  
Но были стены мрака туги,  
И понял я, что заперт в круге,  
Мне свет его не превозмочь.

Вся в нём отсвечена судьба,  
Где был и ярким, и бездарным...  
Нет, я не при столбе фонарном,  
Я — у позорного столба.

Что толку клясться на крови?  
И встал я в этом судном круге —  
И вспомнил об умершем друге,  
И о погубленной любви.

Я каялся и признавал  
В себе Мессию и Иуду...  
Как было горько мне, как худо,  
Я от признаний изнывал!..

Но лишь наметилась заря,  
Лишь капля на столбе угасла,  
Вдруг понял я, что не напрасно  
Всю ночь стоял у фонаря;

Вдруг осознал, что — нет, не вдруг  
Шагнул я этой ночью в осень.  
...За всё с тебя когда-то спросят,  
Втолкнув из мрака в судный круг.

• **Ефим Хазанов** родился в 1949 г. на Могилёвщине. Стихи начал писать в пятнадцать лет. Основная профессия — режиссер. Автор поэтических сборников «И давайте, давайте любить...» (1997), «Мой старый дом» (2001) и «Станция "Дальняя"» (2007). Живет и работает в Самаре.

\* \* \*

Никто не мерил, сколько крови пролито,  
И груды тел загубленных не взвешивал,  
Лишь плюсовал статистик к цифрам нолики  
Да ложкой чай рассеянно помешивал.

Всё подсчитали точно математики,  
Им – строки цифр, поэтам – эпитафии,  
Упали в них бумажные солдатики  
Без званий,  
Без имён,  
Без биографии.  
Как сгнули?  
Где были похоронены?  
Лишь в кадрах,  
Что «Мосфильмом» не раскрашены,  
Из той, военной старой кинохроники,  
Бегут они, солдатики бумажные.

Их лица некрасиво перекошены,  
Их матюги на плёнках обезмолвлены,  
И падают они не по-киношному,  
Фильм черно-бел – и раны обескровлены.

...Солдаты, что вам цифры бесполезные?  
В шести нолях статистика вчерашнего.  
Вы всё-таки останетесь железными,  
Простите внукам души их бумажные.

\* \* \*

Бегу, как в детстве, на речной обрыв,  
Душа моя восторженно немеет...  
Здесь куст осенний, как застывший взрыв,  
На солнце желтизною пламенеет.  
И на четыре голубых угла  
Метнётся взгляд за поиском предела  
И не найдёт.  
И надо два крыла,  
Чтобы с обрыва стартовало тело  
Туда, где солнце низвергает медь  
На облаков курчавые тулупы.  
...Какое горло надо мне иметь,  
Какие сверхчувствительные губы,  
Чтобы, держа в них света лепестки,  
На мощном и стремительном разбеге,  
Когда душа привстанет на носки,  
Не расплескать их запаха и неги.



А там, над твердью, где бессмертен миг,  
Где встанет время и углы исчезнут,  
Где смолкнут звуки и застынет мир, —  
Не будет ничего, а будет бездна.  
А будет только строчка про обрыв,  
Обрывочная боль воспоминаний:  
Про куст осенний, что застыл, как взрыв,  
Про всхлипы вёсел в утреннем тумане;  
Про бег реки и загорелый лес,  
Про ветер и родство его порыву...  
Уходит жизнь.  
И времени в обрез.  
И надо мне успеть ещё к обрыву.

\* \* \*

...и умерла.  
Когда её не стало,  
К постели встали мы полукольцом.  
Она лежала на рассвет лицом,  
Там, за окном, бессовестно светало.

По дому гулко бухали шаги,  
На этажах отсмаркивались сыро,  
А мы стояли, два беспутных сына,  
Разглядывая острые штрихи.

И кто-то громко в носовик шуршал,  
Кот полусонно жмурился поодаль;  
Кому-то в банке подавали воду,  
Он истерично плакал и... мешал.

Мешал понять, что вот её не стало,  
Что мир не перевернут кверху дном,  
Что всё цвело и пело за окном,  
Что там, за ним, бессовестно светало...

Как всё случилось?  
Совість, ты спала,  
Когда среди её безумной ночи  
Она чуть слышно позвала:  
— Сыночек!  
...и умерла.

\* \* \*

Закат, как все закаты, безупречен,  
И прислонились сумерки к домам.  
Прохожих за окном тушует вечер —  
Лишь полфигуры в сполохе реклам.

Поблёскивают сталью тротуары,  
Уже крадутся токи к фонарям...  
А в парках на скамьях немеют пары  
И с трепетом внимают соловьям.

И что с того, что где-то мир в крови,  
И там не гром грохочет в отдаленье,  
Влюблённые смакуют день весенний,  
И нужен им всего лишь куст сирени,  
Май,  
Парк,  
Скамейка,  
Вечер,  
Соловьи.

\* \* \*

Осуждая порок,  
Я бросаюсь в грехи,  
Сердце ложью пытаю жестоко,  
Чтобы нитями строк  
Шить ночами стихи,  
Обеляя себя от порока.

И старьё я сниму,  
И почувствую дрожь,  
И в стихи обернувшись, как в ткани,  
Вдруг внезапно пойму,  
Что беспутство и ложь  
Никуда безвозвратно не канут.

Я стихами одет,  
А душа в наготе,  
А душа ещё в чёрном экстазе.  
И приходит рассвет...  
А на белом холсте —  
Белый стих мой с потёками грязи.

\* \* \*

Ты ушла со страниц —  
Жаль!  
Спинка стула хранит  
Шаль.

Пух подушки щекой  
Смят,  
Дом задрался щепой —  
Клят.

Ой, дождями сечёт —  
В гром!  
Ой, стрехами течёт  
Дом!

Дверь, как рот, искривил  
В «ах!»...  
Чем тебя прогневил,  
А?

Ах, терпенья бы мне  
Чуть!  
Ах, в душе, как в окне,  
Муть!

Твой уход — по судьбе  
Шаг.  
Не пишу о тебе,  
Жаль.

Солнце сгнуло — мрак,  
Ад...  
Что я сделал не так,  
А?

\* \* \*

Под липами, под липами  
И нежно, и со всхлипами  
Всё повторяла: «Миленький,  
Как без тебя я? Как?!»  
И запятою огненной  
Звезда срывалась с облака  
И падала, и падала  
В сырой, холодный мрак.

Из тьмы звезду не вытащить...  
Но маяком всевидящим  
Не гасло платье белое —  
Мерцало мне в ночи.  
Я жил легко и солнечно,  
Но вот однажды полночью  
На полке тихо звякнули  
Забывшие ключи.

...Вот парк. Скамья под липами,  
Вот дом — крыльцо со скрипами,  
В окошке отражается  
Закатный ломкий луч.  
Всё так же: розы в баночке,  
И дверь в морёных планочках,  
Под шаткой ручкой — скважинка...  
И я вставляю ключ.

В понедельник Петербург оказался засыпан снегом. Снег шел всю ночь и утром. Намело сугробы. Невские набережные тонули в снежной пелене. Деревья, дома, пешеходы, трамваи — все исчезало, сливалось, перечеркивалось снегопадом. Из подворотни гуськом, точно гномы, выходили с лопатами дворники в оранжевых жилетах. Возле сфинксов у Академии художеств они расчищали плиты набережной. Но труд был напрасный — снег валил не переставая. И это было начало романа.

Вернее, роман начался давно. Как-то незаметно он стал складываться из написанных стихов, из разговоров, прогулок по городу, из воспоминаний, любви, измен, ревности, печальных ожиданий у окна... Он уже длился сам по себе, обрастал событиями, героями. Но когда-то надо было начинать все это записывать. И вот, этот понедельник, и снег...

Петербург вдруг как-то встрепенулся, вытянулся в струнку. По тротуарам осторожно ступали ленинградские старушки. Странно, — пока город оставался Ленинградом, в его стариках чувствовалось что-то петербургское, а когда он опять стал Петербургом, старушки почему-то остались ленинградскими.

Снег ложился на поля дамских шляп, на козырьки парадных подъездов, обозначил набережные, силуэты мостов и крыш... И все это было началом романа.

Автобус свернул на Университетскую набережную. Люди сидели, стояли, погруженные в свои мысли и заботы. Изредка некоторые из пассажиров случайно обменивались взглядами, но тотчас отводили глаза, точно боялись вопроса: «Ну, что у вас?»

А что можно было ответить на этот вопрос? Жизнь была странной, двойственной, как будто протекала в разных измерениях. И где-то все соединялось, иногда необычно, иногда болезненно. Только город придавал какую-то цельность жизни. Он был причиной и следствием всех движений. Проникал в мысли, чувства, подступал ненавязчиво, но тем сильнее сказывалось его присутствие. С ним невозможно было не считаться. Он диктовал стиль жизни. Иногда таился. Но никогда не оглушал. И где-то в подсознании чувствовалось, что он-то без тебя обойдется, а вот сможешь ли ты без него?

• **Валентина Лелина** – петербургский поэт и эссеист, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор поэтических книг «Ленинградские острова» (1990), «Над судьбой» (1993), «Овал» (1997), «В трех зеркалах» (2000), «Поздние гости» (2003) и книг эссеистической прозы «В пространстве Петербурга» (1997), «Мой Петербург» (1998, 1999), сказки «Петербургская история» (1999). Стихи, эссе публиковались во многих отечественных и зарубежных журналах.

---

В этот день путь пролегал по улице Зодчего Росси, мимо Александринки, через сад, двором на Манежную площадь по Караванной на набережную Фонтанки.

Как всегда в метель, в снегопад город становился еще больше Петербургом — ускользящим, немного надменным. Как будто он вспоминал сам себя.

Дом в глубине двора, затесненный, сжатый брандмауэрами соседних флигелей, поражал неожиданной парадностью фасада. Из-за снега дверь в подъезд плохо открывалась. Вестибюль, старинная лестница — все было тщательно вымыто, но запах кошек все равно не выветрился. Недавно на втором этаже две квартиры заняли новые состоятельные владельцы. Появились уродливые металлические двери, «украшенные» светлыми рейками, совершенно неподходящие к пространству этой старой лестницы, к большому окну во двор.

От батареи шло едва заметное тепло. Иногда кто-то сидел на широком подоконнике в ожидании.

Прислушиваться к дому, к его жизни лучше всего именно на лестнице. Все, кто жили когда-то в доме, проходили по ней, кто быстрее, кто медленнее, задерживались у окна, потом звенели ключами, хлопали дверью.

Пространство лестницы завораживает, звуки шагов, лифта, дверей, обрывки разговоров — все это как закодированный ритм жизни. Так на старинной пластинке для полифона в виде множества выпуклостей и отверстий хранится старинная мелодия, но стоит завести ручкой пружину этого музыкального ящика и прижать рычажок — тотчас послышатся звуки, чуть хриплые, металлические, но узнаваемые, щемящие душу...

На третьем этаже, на ступенях лестницы, сидел соседский откормленный кот. За дверью квартиры сразу пахло теплом жилья.

Этот запах старой петербургской квартиры почти всегда был единственным и всегда узнаваемый. То ли старинный хороший паркет, натертый мастикой, то ли обои или старая мебель в кладовке хранят этот дух. А может быть, это странное присутствие прежних жильцов... Сколько их могло быть с 1913 года, а может, и раньше, со времен княгини Юрьевской или даже Кушелева-Безбородко? И еще больше их стало потом, когда громадные квартиры превратились в коммунальные. Все праздники, болезни, ссоры, приемы гостей, детские игры, слезы — всё как-то таинственно отпечаталось, перешло в новую жизнь. И потом в блокаду — смерть, страдание, боль — они ведь не исчезли бесследно. Они должны были во что-то превратиться, раствориться в тишине дома.

В этой квартире не было горячей воды, старинный титан в ванной надо было топить дровами. Комната за стеклянными дверями — может быть, бывшая гостиная — стала кладовкой. Там хранилась ненужная мебель, банки с вареньем... Во всем этом ощущалась какая-то ирреальность пространства и времени. Больше всего оно напоминало что-то из довоенного быта. Соседка Лида чувствовала себя хозяйкой. Иногда угощала своей выпечкой и солеными грибами.

Окно комнаты выходило во двор. Тяжелый карниз соседней стены нависал так близко, что можно было рассмотреть лепные львиные маски, украшавшие стену. Странно, город рушился, потом оживал, а они все смотрели и смотрели в этот затерянный петербургский двор.

У двора было свое звучание. Летом во время дождя он наполнялся легким шелестящим шумом. Снег, залетая зимой во двор, замедлял движение: снежинки медленно опускались мимо окна, покрывали карнизы, подоконники, львиные морды.

В холодный зимний день в комнате можно было затопить печь. В углу на дверце шкафа висела шинель серого сукна, и было ощущение чьего-то присутствия. В сумерках под Рождество горели свечи и таинственно светились шары на ветках маленькой елочки. Маленький фарфоровый ангел дул в золотую трубу.

И окна, выходящие во двор, светились теплым домашним светом, каждое — своим, особенным. Всмотриваясь в какие-то, едва угадываемые, предметы домашней утвари за светящимися окнами, невозможно было сказать точно, какое время течет в глубине этих комнат, какой там встречают год или век...

Весь этот быт и мир был точно воспоминанием о другой, несбывшейся жизни. Печь в комнате, высокое окно, и шинель... Кажется, постучат в дверь, войдет человек в военной гимнастерке, с вещевым мешком — никто не удивится. Но тайна всего происходящего ощущалась так сильно, потому что за окном был конец века, конец тысячелетия. Другие платья, другая музыка, другие горожане. И вместе с тем не так уж много изменилось. И есть в городе эти странные колодцы, куда попадает Время и будто отстаивается, задерживается надолго.

В комнате не было портретов. Только фотографическая карточка поэта Вячеслава Васильева. Его печальные, умные глаза смотрели пристально и внимательно. Смерть застала его прошлым августом в театре, где после репетиции он читал актерам свои стихи. Дни были душные, тяжелые. Он поклонился на аплодисменты, сердце замерло, и через минуту его не стало. Он так и не увидел маленькие репродукции Джотто, привезенные для него из Италии. На поминках все говорили, что теперь они встретятся с Анной. Анна осталась в его стихах. А он смотрел с фотографии на странный, случайный мир этой комнаты, где всего однажды он был в гостях, в день рождения.

#### ПОЭТ ВАСИЛЬЕВ

У него были очень грустные глаза. Его взгляд запоминался сразу. Да и внешне он был необычный — такой большой, толстый, лысый человек с оттопыренными ушами. Движения его были неторопливыми, и говорил он так же неторопливо. Но в этой замедленности не было усталости, а было что-то другое. Может быть, мудрость. Понимание того, что жизнь слишком драгоценна, чтобы суетиться.

Жил он на Петроградской в большой коммунальной квартире, в двух комнатах окнами во двор. Это были комнаты его Анны. Одна большая, с белой изразцовой печью в углу. Здесь стоял старинный буфет, стол, на стенах — картины, портреты. А другая комната была узкая, вся уставленная книгами до потолка, с маленьким рабочим столом, где с краю лежал череп, когда-то названный Анной Лилит, который потом они стали называть просто Лида. В этой узкой комнате тринадцать лет назад умерла Анна. Она была еще совсем молодая. И потом все приходящие сюда в гости чувствовали ее отсутствие. Хозяин, наверное, привык и не замечал этого. Но входящие впервые вдруг ясно ощущали, что здесь еще жила женщина, а теперь ее нет. Остались ее фотографии, ее любимые вещи, маленькие чашечки для кофе, доставшиеся ей от деда... Она была биологом. А Васильев врачом. На стене в большой комнате висел дореволюционный портрет его деда-медика в военном мундире с эполетами. Это было одно лицо с Васильевым. Только взгляд не грустный, а надменный. Все в его семье были военными врачами — и дед, и отец, и брат. И только он стал не только врачом, но еще и актером, а еще больше — поэтом.

Его поэзия была трагична. И жизнь трагична, и любовь. Друзья рассказывали, что когда Анна умерла, он прах ее развеял на поляне. Где-то по Петергофской дороге. Там были их любимые места.

Удивительно, как стремительно стал распадаться его дом. Может быть, если бы он жил не один, это не было бы так заметно. Что-то увозил его брат — фамильные вещи, книги... Как листья осенью, облетели со стен портреты, афиши спектаклей, фильмов. И только лестница в его доме осталась все такой же. И можно подняться на второй этаж, постоять под дверью. Ступени все еще хранят его шаги. Его движение...

Ответь мне тело, душу не отдавшее:  
Сравнишь ли по какому-либо вектору  
Тоску — как состояние всегдашнее —  
С тоскою — окончательной и смертною?

Всегда труднее возвращаться в прошедшее осознанно. Легче, когда оно налетает нежданно какими-то ассоциациями, движением реки, шелестением сада. Тогда мы пересекаем эту границу незаметно для себя, точно переходим с одной стороны улицы на другую. А там уже другое освещение, другие прохожие, другое время.

В Петербурге много стариков. Они печальны и одиноки. Может быть, в таком пасмурном городе это особенно заметно. Две женщины, чем-то очень похожие, но если взглянуть внимательнее — такие разные, где-то мелькнули в разговорах, повстречались, исчезли из виду. Фенечка уже давно умерла, а Дарья, вероятно, живет и теперь. И ее можно найти при желании.

#### ФЕНЕЧКА И ДАРЬЯ

Фенечка была старушкой без возраста. Маленькая, седенькая, с аккуратно зачесанными гребешком волосами, и такая вся светленькая, что и дети, и взрослые называли ее просто Фенечкой. Родом она была откуда-то из Белоруссии, но, кажется, вечно жила в своем Невском районе, у сада Бабушкина, который до революции назывался «Вена». Она же называла его Бабушкин сад и была уверена, что это от слова «бабушка». Выйдя на пенсию, помогала старичкам, покупала им продукты, готовила. Ее часто просили о помощи знакомые, какие-то земляки. Родни у нее в Питере не было.

Она была очень набожной. Это были годы, когда церковная литература была так же малодоступна, как Мандельштам и Ахматова. И Фенечка, экономя свою крошечную пенсию, покупала в букинистических магазинах жития святых. Набожность ее была так естественна, так органична с ее светлым обликом, с ее речью, немножко неленинградским выговором и какой-то детскостью. Она откликнулась на всякую просьбу. Иногда жила в домах с нуждающимися в ее помощи и уходе. Очень уютно пила чай, вела разговоры. Был один забавный случай. Она ухаживала за давним своим знакомцем, вдовцом, очень интеллигентным, много старше ее человеком. И вот он как-то упомянул в их религиозной беседе, что Христа миру дали евреи. На что Фенечка всплеснула руками и убежденно сказала: «Да что ты, Володенька, спятил? Христос ведь был русским». И столько в этом было детской наивности и ее удивления. Это так же как в негритянских христианских общинах Христа изображали чернокожим.

Но поразительно, что за неделю до своей смерти Фенечка пришла к племянницам этого Володеньки и сказала, что она умрет на Пасху. Так и случилось. Пасха в тот год выдалась ранней, кладбища еще были закрыты на просушку, хоронить не разрешали, только кремировать. Обе женщины, к которым она приходила за неделю, пошли к директору кладбища, говорили, что для Фенечки, такой набожной, это невозможно, что случай исключительный. И директор согласился и дал единственное разрешение. И отпевали ее в главном соборе Александро-Невской лавры так торжественно и празднично, как какое-нибудь важное религиозное лицо. В православной церкви смерть на Пасху считается особой милостью Божьей...

Дарья в отличие от Фенечки имела высшее образование. Тоже очень маленькая, худенькая, с тихим детским голосом. Тоже ухаживала за больными, приносила продукты. Все точно так же. Но только предметом ее забот были исключительно писатели, известные актеры, художники. Она ухаживала за ними в Покровской больнице на Васильевском. Потом навещала их и дома. Они все хором рассказывали о ее самоотдаче и бескорыстии. Но почему-то иногда казалось, что в этом подвижничестве скрыта какая-то уязвленность, несостоятельность, и в кротости проступала гордыня. Что-то в этом было странное, особенное. Две женщины, две судьбы, разнесенные во времени. И только улицы этого города, по которым они проходили — одни и те же.

Но удивительно, как не пересекаются наши пути. Город для всех один, но он существует, точно слоеный пирог. И проходя одними и теми же улицами, мы движемся в каком-то своем слое — временном, возрастном, профессиональном... Мы говорим: «Мир тесен». Но он тесен только в нашем слое. Мы даже редко знаем, кто живет ниже этажом по нашей лестнице...

Только иной раз, особенно белыми ночами, сквозь прозрачные занавески можно увидеть освещенную комнату в доме напротив. Часы на стене. Кто-то читает за столом. Женщина перед зеркалом расчесывает волосы. А там — домашний праздник, застолье. И за каждым движением — судьба, история жизни. Иногда чья-то жизнь только соприкасается с этим городом. А потом человек уезжает надолго, навсегда. Для него Петербург остается в письмах, в разговорах. А что это соприкосновение значит для Петербурга?

Так случилось и с Ирой. Ее приезд в Ленинград, здешняя жизнь, потом отъезд, редкие возвращения, больше похожие на воспоминания...

## ИРА

Ее отец родился и в детстве жил в Ленинграде. Вместе с родителями во время войны эвакуировался в Пермь. Он был геологом и рано умер. Ей было тогда всенадцать лет. Что-то ей передалось от этого города. Через отца, может быть. Она приехала сюда учиться и совершенно слилась, совпала с этими домами и улицами. Утонченная, изысканная, нервная... Ее внешность, манера одеваться, выбирать вещи, ее жизнь — все вместе всегда составляли мир настолько единственный, что не было ему подобного. В студенческие годы она снимала комнату на Таврической улице. Там почти не было вещей. Когда принесли ей цветы на новоселье, она поставила вазу на пол. И все вдруг увидели, как это красиво — ваза с цветами на полу. Она могла поместить подаренную картину на стене ниже уровня письменного стола, и от этого картина только выигрывала. У нее было



немного книг, но не было случайных — каждая говорила об исключительности ее вкусов и пристрастий.

«Вы знаете, — рассказывала она, — я видела в комиссионном магазине фаянсовый кувшин и таз для умывания начала века. Форма безупречная — модерн. Внутри чуть желтоватый, снаружи фисташковый. Представляете, как красиво налить в такой таз воду и пустить туда плавать розы...» У нее не было денег, чтобы купить эти вещи, они стоили столько же, сколько составляла вся ее стипендия. Но ей дарили этот таз и этот кувшин. И действительно, розы, плавающие в тазу начала века, — это было удивительно и напоминало не то сказку Андерсена, не то произведение Густава Климта. Она каким-то образом заражала всех, кто ее знал, своим эстетическим чувством. В ее длинных, высоко поднятых волосах всегда были какие-то изысканные заколки, костяные шпильки... Любая вещь на ней или рядом с ней, особенно ее подарки — тарелки, бокалы, книги — были отмечены только ее выбором. То она ходила в длинных одеждах, то вдруг надевала очень короткие, но покроя пальто или платья всегда были таковы, что никто не сомневался, что это, по крайней мере, парижские модели. «Ирочка, — говорили ей коллеги, — вас несомненно кто-то содержит». Она отвечала, улыбаясь: «Почему бы и нет». На самом деле иногда ее обедом была порция мороженого. Однажды ее финансовые дела были так плохи, что она решила поработать уборщицей. Можно представить, как она пришла в какую-то контору в бабушкиной велюровой шубе, которая на ней выглядела последним криком моды. «Да вы что? — сказали ей в конторе. — Разве такие уборщицы бывают?» На нее было просто хорошо смотреть. Как она пьет кофе, например. Чашечку она держала так, как только она и умела: немного изогнув кисть. Казалось, чашка ничего не весит. Это не было манерничаньем. Это получалось у нее само собой, просто, естественно. А как она зашпиливала или расшпиливала волосы! Фантастическое зрелище. Но самое необыкновенное было то, как она спала. Когда мы спим, мы не помним себя и бывает, что выглядим не лучшим образом. Ирина же спала так, точно она знала, что на нее в это время кто-нибудь смотрит — такое легкое у нее было дыхание и светлое лицо. И только одно никому никогда не удавалось — это запечатлеть ее. Она не могла позировать художникам и неудачно выходила на фотографиях. Видимо, ее индивидуальность и изысканность как раз заключались в какой-то ее нервности, движении, повороте головы, в ее мгновенности.

И вот именно у нее, у Ирочки, все любовные истории происходили с мужчинами, казалось бы, самыми неподходящими и никак не соответствующими ей — с шоферами грузовиков, каменщиками, кузнецами. Эти истории были очень романтическими, но почти всегда с одинаковым, печальным для нее концом. Когда мужчины требовали, чтобы она вышла замуж, уволилась с работы и стала бы хозяйкой дома, что отвечало их представлениям о семейной жизни, а она отказывалась — ее всякий раз бросали. Она страдала, хоть и сознавала неизбежность такого финала.

Однажды, не то в шутку, не то всерьез, она объяснила: «Понимаете, мой отец был геологом. Каждый раз, когда он собирался в поле, задолго до похода наш дом наполнялся кожаными рюкзаками, ремнями, планшетками, куртками... И эти очень специфические запахи на всю жизнь связались у меня с представлением о мужчине. Может быть, поэтому у меня ничего не получается с тихими интеллигентными мальчиками». Наверно, в таком фрейдистском объяснении есть доля правды. Но жизнь так причудлива, непостижима, что все объяснения слишком упрощают любое ее движение.

Она уехала сначала в Новгород. Работала там в реставрационных мастерских. В Петербурге бывала все реже. Как-то была от него уже в стороне. Но изредка приезжая, она по-прежнему каким-то непостижимым образом совпадала с городом — у них как будто был тайный сговор. И никто не удивлялся, если встречал ее на выставке в Мраморном дворце или в какой-нибудь маленькой галерее. Одной из тайн была подвижность ее мира. Она перевозила его с собой легко и непринужденно. А для постоянного жителя Петербурга очень характерна инертность, пускание корней. Переезд даже на другую квартиру подобен землетрясению. Мы обрастаем предметами быта, книгами, фотографиями. Даже вид из окна или звук шагов на лестнице составляют важную часть нашей жизни. Мы становимся обывателями в первоначальном, лучшем смысле этого слова: обыватель — человек, долго живущий на одном месте.

Какая-то часть горожан обязательно должна быть обывателями, иначе исчезает и истончается неповторимая ткань городского бытия — привычка покупать хлеб в одной и той же булочной, сдавать в ремонт обувь одному сапожнику, встречать поезда на Витебском и Московском вокзалах, заказывать к празднику пирожные в магазине «Север» на Невском, не говоря уже о начале театральных и концертных сезонов, когда все фойе петербургских театров наполняются запахом мокрых зонтиков, плащей, а капельдинеры продают программки и поясняют распределение ярусов, бенуара, партера... И прелестные девочки в платьях с кружевными пелеринами чинно прохаживаются с театральными биноклями в руках. Почти в каждом петербургском доме есть этот маленький театральный бинокль, иногда даже костяной, доставшийся от бабушки.

В книжном магазине «Академкнига» на 9-й линии Васильевского острова открылся маленький отдел, где продаются старинные безделушки — графинчики, веера, фарфоровые шкатулочки, чернильницы, пасхальные яйца... Вещи не очень дорогие, не антикварные. Продавец отдела сказал, что старушки с ближайших василеостровских линий приносят эти вещицы, чтобы хоть как-то дотянуть до очередной пенсии.

Ах, наши ленинградские-петербургские старушки! Какие печальные, какие прекрасные истории связаны с этими веерами и шкатулочками. Какими любовными тайными воспоминаниями полнятся старые квартиры, где одинокие петербурженки живут со своим прошлым. Их жизнь незаметна для окружающих — светится окно за тяжелой шторой, приходит служащий из собеса, редкие гости поднимаются по лестнице.

Всего-то два марша старой, узкой петербургской лестницы в доме на Большом проспекте Васильевского острова нужно преодолеть, чтобы постучать в комнату Татьяны Васильевны. Именно в комнату, а не в квартиру, потому что таинственным образом от огромного мира и всей жизни, которая прошла в этих стенах, осталась только комната. И совсем другое Время смотрит из окон этой комнаты на Большой проспект.

#### КОМНАТА ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Так просто туда не войти. Нужно условиться с теми, кто хранит этот тайный мир. И он тоже принимает не всякого. Но если все сойдется, то путь окажется совсем несложным: с проспекта свернуть в подворотню, вход в подъезд прямо

из подворотни и дальше по лестнице на второй этаж. Там небольшая отдельная дверь рядом с высокой дверью, которая вела в старую четырехкомнатную квартиру.

Когда-то Татьяна Васильевна сама нашла эту квартиру. Ее отец был известный художник. И когда в 1918 году привычный мир покачнулся, и началось выселение академических семей из жилого флигеля при Академии художеств, Василий Евменьевич так растерялся, почувствовал себя таким беспомощным, что дочери самой пришлось устраивать их дальнейшую жизнь. Так они оказались в уютной квартире на Большом проспекте. Тогда еще у дома был хозяин. Потом и это изменилось, их снова уплотняли, и к тридцатым годам семья занимала только две комнаты. Но какой бесконечно огромный мир там поместился! Сколько было картин, книг, драгоценных воспоминаний. Какие удивительные лица смотрели с портретов. Приходили ученики Василия Евменьевича, устраивались вечера, звучал рояль. Незаметно образовался кружок людей, близких духовно. Это была та нить, тонкая, но не прерывающаяся нить петербургской культуры, которая, точно в подполье, теплилась в таких академических домах. Это была не только культура профессиональная — студии рисунка и живописи, — это была культура речи, общения, юмора, домашних праздников и вечеров.

Когда в 1937 году умер Василий Евменьевич, Татьяна Васильевна, опасаясь всего, чего опасались тогда люди, переселилась в одну комнату. Теперь она оставалась в этом городе одна из всей семьи. Братья потерялись во время гражданской войны, позже умерла сестра. Теперь в этой комнате была и спальня, и гостиная. Но самое главное — эта комната по-прежнему оставалась местом встреч, разговоров, размышлений о жизни, об искусстве. Теперь уже сама Татьяна Васильевна собирала здесь своих учеников, давала уроки графики. Это была ее маленькая студия. Нить не прерывалась. В этой комнате Татьяна Васильевна прожила всю блокаду, сохранив работы отца, подаренные работы учеников и друзей, семейные альбомы и книги.

Хозяйка комнаты вместе со своим миром, доставшимся ей в наследство от прежних времен, как-то незаметно вошла в пятидесятые годы, потом в шестидесятые и дальше, дальше... К ней по-прежнему приходили ученики брать уроки рисунка и акварели. Вряд ли она создавала, что и благодаря ее семье, ее миру, нить так и не прервалась.

Иная жизнь, откуда-то из начала двадцатого века, из тридцатых годов продолжает существовать в этой тайной комнате. Тайной, потому что, точно волшебную шкатулку, ее отделили от всей старой квартиры, где были уже совсем другие люди и другой мир. Об этом позаботились ученики Татьяны Васильевны, вернее две ее ученицы.

Если войти в комнату, поразит, что жизнь не ушла отсюда. А сама Татьяна Васильевна, кажется, просто ненадолго вышла. Вот ее стул за чайным столом, рояль, никелированная кровать с шариками на спинках. В углу комнаты высокая белая изразцовая печь, кувшин для умывания на полке. Какие-то предметы быта, давно вышедшие из обихода, здесь живут. Сразу бросается в глаза фотопортрет Василия Евменьевича. Благородное, одухотворенное лицо, бесконечно печальные глаза. Над столом портрет Татьяны Васильевны, выполненный маслом, когда ей было, может быть, тридцать лет. Какая красивая женщина! Как много в этом лице возвышенной красоты, доброты к жизни. Вообще портреты, смотрящие со стены, наполняют комнату жизнью, раздвигают ее пространство. Здесь бывают

вечера и встречи. И гости пьют чай за столом. Только стул Татьяны Васильевны никто не занимает. Посреди комнаты поставлен натюрморт. Оказывается, здесь по-прежнему маленькая студия. Рисунок и акварель преподает ученица Татьяны Васильевны. И нить не прерывается пока...

Нить не прерывается. Она истончается, слабеет, ее выпускают из рук, но вновь подхватывают. Петербург каким-то странным образом проступает сквозь все слои, сквозь все наносное, уродливое, случайное. Это дается нелегко. Всегда есть потери. Тем удивительнее постоянное возвращение на круги своя в бесконечных мелочах и подробностях повседневной жизни.

Буквально в двух шагах от дома Татьяны Васильевны начинается бульвар между 6-й и 7-й линиями. В начале 80-х годов двадцатого века бульвар засадили лиственницами. Вообще-то лиственницы совсем не городские деревья, скорее парковые, пейзажные. В их силуэте есть некая томность. В них нет графики и узора ветвей, как у лип или кленов, которые так хороши петербургской зимой. Даже скороспелые тополя больше подходят пространству петербургских дворов и улиц. Но лиственницы прижились, подросли и, как ни странно, придали атмосфере бульвара ту самую провинциальность, о которой оставили воспоминания жители этого уголка Петербурга и в XVIII, и в XIX, и в начале XX веков.

### БУЛЬВАР НА ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ ЛИНИЯХ

Поэт Вадим Сергеевич Шефнер, живший когда-то на 6-й линии Васильевского острова, писал о жизни этой улицы в двадцатые годы, о лавках и пивных забегаловках, о барахолке на Андреевском рынке.

Что-то вернулось из того времени — безработица, нищие, мошенники... Вновь идет служба в Андреевском соборе. Открылась даже маленькая церковь Трех Святителей, которую никто уже и не воспринимал как храм. Закрытые наглухо подвалы вдруг ожили — кафе, мастерские всевозможного ремонта, магазинчики. И вечная барахолка стихийно образовалась прямо на бульваре. Причем торгующие стоят со стороны 6-й линии, а горожане, проходя по бульвару, мимоходом останавливаются, рассматривают выставленные вещи.

Зрелище печальное, жалкое. Если в «Академкниге» старинные вещицы навевают какие-то романтические мысли об ушедшем, то здесь они выглядят обломками кораблекрушения. Вилки, ложки, которые изготавливали на Ижорском заводе в семидесятые годы в качестве товаров народного потребления, потертые кожаные кошельки, старые игральные карты, рюмки простого стекла, утюг, сношенные туфли. Вдруг среди этого всего книги — случайные, не то чтобы зачитанные, но потрепанные. Как-то раз среди всякой всячины прямо на земле лежал томик стихотворений Шефнера. Точно напротив дома, где он жил. Женщина, продававшая тарелки, чашки, ключи и эту единственную книжку, конечно, не знала о тайном пересечении места, времени и души. «Два рубля», — ответила она на вопрос о том, сколько стоит.

Если приглядеться внимательнее к торгующим на бульваре людям, прислушаться к их разговорам, невольно удивишься тому, что это обычная жизнь, обычный мир со своими отношениями и заботами. В хорошую погоду лица у людей веселее. Вообще они не озлоблены, подшучивают друг над другом. Печально,

конечно, что почти все торгующие — люди пожилые. Чувствуешь какую-то свою вину и бессилие.

Возле шляпного ателье на 7-й линии почти каждый день сидит худой старик в плаще и темной шляпе с большими полями. С ним всегда две маленькие лохматые собачки. Милостыни он не просит, но не отказывается, когда ему дают. Деньги берет сдержанно. Вместе с торгующими барахольщиками, прохожими, нищими, стоящими у входа в Андреевский собор, старик стал неким персонажем улицы, действующим лицом этого ежедневного спектакля. Его выход часа в два пополудни. А первыми на бульваре появляются дворники.

Шарканье метлой по тротуару отчетливо слышно в утренней тишине притихшего бульвара. Потом начинают открываться магазины, ателье, мастерские, библиотека. Слышится звон с колокольни. От метро к Большому проспекту по бульвару тянутся прохожие. Вот тогда между лиственницами выстраиваются первые барахольщики. Вообще действующие лица этой улицы очень демократичны. В чебуречной, где до войны была пивная, допоздна засиживаются преподаватели Академии художеств, студенты университета, служащие василеостровских заводов и фабрик. Здесь нет выхолащенных молодых людей с радиотелефонами. Здесь нет фешенебельной торговли, богатых ресторанов. Хотя за последние годы по 6-й линии открылось небывалое количество маленьких кафе и магазинчиков. Первые этажи домов пестрят вывесками, фонариками, идиотскими украшениями. При всем старании выглядеть привлекательно вывески придают улице аляповатость и тот самый дух провинциальности, который не выветрился отсюда за триста лет.

Начатые и брошенные работы по благоустройству улицы, развалины кинотеатра «Балтика» за забором, барахло уличных торговцев — все это вызывает ощущение временности жизни. Улица как будто застыла в ожидании перемен. Но ожидание слишком затянулось. И все приспособились к этому ощущению, привыкли и перестали замечать. Вот и старик со своими собаками опять примостился на низком подоконнике шляпного ателье. Если его прогоняют модистки, он переходит к соседнему окну.

Вдоль забора, за которым погибает кинотеатр, расположили свой товар книготорговцы. В отличие от барахольщиков, раскладывающих вещи прямо на земле, здесь все гораздо солиднее — переносные прилавки, стенды. Надо отдать должное, на прилавках не ярмарочное чтиво, что продается у метро и в газетных ларьках на вокзалах. Здесь книги по истории Петербурга, философия, психология, публицистика, поэзия. Вдруг понимаешь, что это неспроста. Публика, проходящая по этой улице, особая — Университет, Академия наук, Академия художеств, Институт русской литературы...

Книготорговцы осторожно, неназойливо вступают в беседу с остановившимся у прилавка прохожим, «прощупывая» его, точно просвечивая рентгеновскими лучами. Они безошибочно определяют случайного человека, среднего книгодея или книжного фаната. Есть в Петербурге эта особая порода людей, которым книги заменяют близких, друзей и даже возлюбленных. Они живут среди книг, они тратят на них все деньги. Они знают все книжные магазины города, все книжные ярмарки и выставки. Здесь, на 7-й линии, у книжных прилавков часто можно встретить красивого седоволосого человека, бесконечно долго рассматривающего, листавшего книги.

## ЗВЕЗДОЧЕТ

У него очень романтический и интеллигентный облик — мягкие седые волосы, коротко остриженная бородка, усы. Светлые пронизательные глаза, в глубине которых иной раз поблескивает металлический холодок. Но это длится одно мгновение, и мало кому удастся его заметить. Манеры, речь, особенно голос — все располагает к этому человеку. Он умеет слушать. Модно и современно одевается. Он очень нравится женщинам. И ему нравятся женщины. Как-то раз он сказал, что с женщинами ему интереснее, потому что они сложнее мужчин, тоньше в восприятии жизни. О себе он говорит немного, как-то уклончиво. И поскольку он златоуст, то завораживает речью, легкими переходами от одной темы к другой, и так много уделяет внимания собеседнику, то есть собеседнице, что последняя сразу подчиняется этому плетению беседы и уже не замечает, как он направляет разговор, как тонко задает вопросы, осторожно экзаменует. Потом совершенно невозможно связно вспомнить, что он рассказывал о себе. Кажется, журналист. А может быть, филолог. Или философ? Какая разница, человек совершенно необыкновенный.

У него польские корни, о чем говорит не только его внешность, но и имя, и фамилия — Мечислав Вячеславович Дробышевский. Он не любит свое имя и просит называть его Дмитрием или просто Митей. Говорит, что так его всегда называли друзья, тем самым выказывая к вам свое расположение. Астрология — его конек во всех разговорах. И поскольку запомнить его имя и фамилию нелегко, за глаза его часто называют астрологом.

Совершенно непонятно, женат ли он, есть ли у него дети. Кажется, женат. Или был женат. Или жена живет в другом городе. Или даже за границей. Нет, это, кажется, дети его живут за границей. А может, у него и нет детей. Ему нравится напускать на себя таинственность.

Узкая каменная лестница с неудобными высокими ступенями ведет к нему на самый верхний этаж. Живет он один в большой старой квартире с высоким потолком. И каждый квадратный сантиметр стен, простенков, легких перегородок уставлен книгами. Это не просто домашняя библиотека, по которой как-то можно судить об интересах этого человека. Это изысканное, уникальное собрание редчайших книг, редчайших изданий, где концентрация вкуса достигает высшей шкалы, и библиотека становится явлением. Трудно определить одним словом отношение этого человека к книгам, потому что оно выходит за рамки обычного. Бережное, нежное или страстное? Что-то есть во всем этом болезненное. Например, он никому не дает свои книги. И не потому, что боится их утратить. Все сложнее. Он говорит, что потом у него возникает странное чувство: ему неприятно, что его книгу держал в руках кто-то другой, и сравнивает это с тем, как невозможно спать с женщиной, если она изменила с другим мужчиной. Он говорил, что иной раз в исключительных случаях давал книгу на определенный срок. И вот, когда она возвращалась к нему, ему было даже неприятно смотреть на нее от сознания, что эти страницы листали чужие пальцы, чужие глаза вчитывались в строчки, что она лежала на чужом столе. Он убирал ее куда-нибудь подальше. Проходило месяца три, прежде чем хозяин мог дотронуться до корешка книги, и еще больше, прежде чем он решался взять ее в руки.

Чем ближе знакомишься с этим человеком, тем более странным кажется его мир. Здесь книги — пленники своего хозяина. И женщины его пленницы. Как

беспощадно расплачивается он с любой, выбившейся из-под его подчинения, как интригует и плетет тайную сеть своего мщения. Однажды кто-то из знакомых, забыв его имя, никак не мог назвать этого человека. И вдруг совершенно случайно воскликнул: «Ну, как же, этот, как его — звездочет!» Он хотел сказать «астролог», но вышло еще точнее — «звездочет». Что он считает в своем одиночестве — книги, женщин, деньги, несбывшиеся мечты? Умный, холодный и недоброжелательный человек, одинокий, как редкие звезды в петербургском небе.

Петербургское небо действительно чаще всего беззвездно. Звезды не видны из-за облаков, из-за городского смога, из-за вечерних фонарей и тумана. Иногда какая-то звезда промелькнет вдруг в разрыве облаков над куполом Казанского собора — одинокая, далекая... Ее холодный свет только сильнее подчеркивает холодность этого города. Зато луна является на петербургском небосклоне чаще. И в летнюю белую ночь, и в зимний морозный вечер она заглядывает в дома к горожанам, отражается в нежилых окнах дворцов. Петербургский мальчик Миша Смирнов долго не засыпает, когда лунный свет проникает в окно его комнаты. Тени оживают на стене, свиваются в кольца, тянутся по потолку и исчезают в дальнем темном углу комнаты.

### МИША СМИРНОВ

Миша живет с папой и мамой на четвертом этаже большого старого дома. У Миши очень красивая комната — с эркером, с грифонами на потолке, с высокой печью, облицованной белыми изразцами. Когда дует ветер, в печи что-то гудит, завывает. Миша думает, что это привидение, живущее на чердаке. Квартира кажется мальчику огромной. Это целый мир. За стеной, у соседей, мелодично бьют часы. В дальней комнате Ирина Николаевна по вечерам играет на рояле. У Ирины Николаевны очень много самоваров. Миша каждый раз считает их и сбивается, и начинает заново. А сколько книг у Андрея Павловича! У него есть даже специальная лестница, чтобы доставать книги с самых верхних полок. Мише нравится, когда Андрей Павлович просит его помочь снять какую-нибудь книгу. Комната сверху кажется очень необычной. Люстра вдруг оказывается вровень с его головой, и на ее медном шаре можно разглядеть танцующих человечков. На буфете между старинной супницей и какими-то вазочками лежат высохшие свернувшиеся прошлогодние кленовые листья. Миша помнит, как они вместе с Андреем Павловичем собирали красные и желтые листья в Таврическом саду. Снизу из-за резной полочки буфета не видно, что несколько листьев упали и засохли. А сверху все очень хорошо заметно. Прямо над буфетом в стене очень изящная медная вентиляционная решетка с засовом. Раньше решетка была заклеена обоями, и никто не знал о ее существовании. Но однажды с крыши туда провалился кот и стал громко мяукать. Андрей Павлович первым догадался срезать обои. И тогда все соседи увидели огромного перепуганного кота. Решетку сняли, кота освободили, но заклеивать ее обоями Андрей Павлович не стал на случай очередного хвостатого гостя.

Но самые таинственные и странные углы квартиры находятся за коридором, за кухней. Только дважды Миша забирался с папой на антресоли. Папа что-то там искал согнувшись, а Миша стоял во весь рост. Он разглядывал старые шляпные картонки, граммофонные пластинки, потемневшее зеркало в овальной раме,

коробки с елочными игрушками... Ах, если бы ему позволили играть на антресолях. Но это счастье невозможное. Приходится только мечтать, что, может быть, например, под Новый год, они с папой заберутся в этот чудесный мир старых вещей.

За темным коридорчиком, соединяющим прихожую с кухней, находится закрытая дверь. Миша часто подходит к этой двери, осторожно нажимает медную ручку, прислушивается. Что это за дверь, почему она всегда закрыта? Мальчик был очень разочарован, когда однажды мама объяснила, что это дверь в кладовку. Теперь туда удобнее заходить прямо из кухни. А в прежние времена там жила служанка. С тех пор Миша всегда называет кладовку «комнатой служанки». Ему кажется, что служанка была веселой. Вон сколько замечательных вещей в ее комнате — три стола, тазы, старый резиновый мяч, обруч, лыжи, раскладушка... Если бы служанка жила и теперь, он играл бы с ней в прятки.

На кухне дощатый пол со следами огромной плиты. Ее давно заменили на газовые плиты. А в углу выход на черную лестницу.

Черная лестница... Парадная лестница просторная, широкая, с высокими окнами, с лифтом. А черная — узкая, с крутыми ступенями. Иногда за дверью слышатся чьи-то голоса, шаги, мяуканье котов. Лестница живет своей особой, таинственной жизнью.

Мама выносит по этой лестнице мусор во двор. Как-то раз на лестнице было темно, не горел свет. Миша пошел с мамой вместе и освещал ступени горячей свечкой. Тени от пламени плясали по стенам.

В один теплый осенний день Миша с мамой поднялись по этой лестнице на чердак и через окошко выбрались на крышу. Потом Миша слышал, как папа сердился и называл это легкомыслием. Но в тот день он сделал открытие. Он понял, что черная лестница соединяет двор и небо. Парадная соединяет улицу и квартиру. А черная из двора мимо кухни ведет на чердак, а значит — к небу.

Сделав это открытие, мальчик даже не осознал, что теперь всю жизнь он невольно будет соединять все небесное, необычное, надмирное с черной лестницей и с задним двором, вымощенным брусчаткой. Он будет всегда помнить, что задворки ближе к небу, к звездам, чем парадные улицы и площади. И когда однажды его посетит главное в жизни чувство, он не удивится тому, что любовь селится только там, где нет никаких надежд и никаких условий: на подножке трамвая, на лестнице, на заднем дворе. Миша будет думать, что знал это всегда. Но на самом деле он это постиг на черной лестнице старого петербургского дома.

Старый дом всегда полон всяческих историй. У каждого дома свой характер. Горожане даже не отдают себе отчета, почему им нравятся или не нравятся дома. Некоторые безусловно хороши. Чем-то они привлекают, как люди. Некоторые раздражают. Иные притягивают к себе странно, болезненно... Иные, безликие дома, остаются незамеченными. И только когда к ним пристраивают что-нибудь несуразное или воздвигают над ними нелепой формы мансарды, вдруг понимаешь, что был нормальный незаметный петербургский дом, а теперь какая-то заноза в нем беспокоит, тербит душу. Сколько это уже повторялось...

Но нет в Петербурге домов на одно лицо. Как бы ни были похожи их истории и истории их жильцов, — в каждом доме по-разному звучат шаги на лестнице, по-разному светятся окна на улице и во дворе.



Три высоких окна эркера, похожего на чемодан, на третьем этаже мрачного дома на канале Грибоедова долго не гаснут в ночи. Там живут двое — седоволосый профессор в очках и его жена. Жена — прелестная, умная, ироничная женщина, сто лет знающая, что ее муж — графоман.

#### ГРАФОМАН

Он прекрасный специалист, талантливый инженер, обожаемый учитель множества учеников. Никто толком даже не знает, как это произошло, что седоволосый профессор стал графоманом. Может быть, это город провоцирует? Да и что такое графомания? Похоже, что подобное чувство сродни эротическому. И однажды, испытав это наслаждение, человек не в силах устоять — его вновь и вновь настигает желание сплести строчки, с упоением читать и перечитывать сначала себе, потом родным, близким, потом незнакомым, случайным слушателям, потом, потом... Он не замечает, что его слушают сначала из вежливости, потом принужденно, потом начинают избегать, извиняться, смотреть украдкой на часы.

А он издает книги на последние сбережения. И жена, и дочь с нежностью идут на эту жертву к его юбилею. Потом он устраивает вечер, договорившись со знакомым администратором клуба. И паузы между поэтическими излияниями его друг заполняет экспромтами на рояле. А как поэтично он взмахивает рукой! Аплодисменты, аплодисменты!

Зал томится. Томятся друзья и ученики, отдавая должное слабости любимого человека. Волнуется жена. Она испекла пирожные «корзиночки», которые будут поданы к вину после ПОЭЗИИ.

Несчастный графоман! Он не приносит никакого вреда никому. Мы просто нетерпеливы, мы слишком заняты своими делами, собой. В этом большом городе мы не слышим, не замечаем друг друга. В Петербурге люди обречены на одиночество. Может быть, поэтому здесь так много графоманов. Вместо того, чтобы обыкновенным человеческим языком сказать что-то простое и важное для себя и для других, графоман высокопарно сплетает словеса в дикие кружева в напрасном обольщении, что только тогда его кто-то услышит.

Наш графоман начинал, как и многие — писал по случаю спичи и поздравления. В них были ирония и юмор, и это очень нравилось друзьям и близким. Это умение дополняло и украшало талант инженера, его профессорский авторитет. Кто знает, почему сорвался спусковой крючок. Как это происходит, никто не понимает. Скорее всего, одиночество, ощущение своей ненужности делают свое дело. Он утратил иронию и юмор. Он пишет огромное количество стихов. У него нет черновиков — все сразу набело. И он не терпит никакой критики.

А еще Петербург расставляет графоману свои ловушки. Его проспекты, площади, здания, реки, парки, музеи... Задыхаясь от восторга, графоман перечисляет все это. Он хочет писать высоким слогом, как он считает — единственно достойным этого города, и сваливается в пропасть туристической высокопарности.

Его жена — красивая, все понимающая женщина. Всю жизнь она вынуждена скрывать свои таланты и оставаться в тени, чтобы заметен был он. Не так легко это ей дается. Только раз она рискнула прочитать в кругу друзей одно-единственное свое стихотворение, написанное скорее в шутку, о роли жены и Музы в жизни сочинителя.

— Это стихотворение стоит всей поэзии Викентия Георгиевича, — неосторожно сказал один из его учеников.

На другой день профессор слег. Он устроил жене ужасную сцену. Он возненавидел ученика и обвинял его в сговоре с женой. Он страдал. Жена звонила, умоляла объясниться, извиниться... Если бы знать заранее...

Не внимая мольбам жены, он без шапки и пальто сбежал по лестнице. Шел снег. Графоман рвал бумаги и бросал в темную пропасть канала...

Петербургские реки и каналы уносят в залив все отходы, все ужасы и страсти огромного города — бутылки, обертки, презервативы, новогодние елки, любовные письма, следы мошенничества и даже преступлений.

Только на дне одного канала Грибоедова таится столько обломков крушения надежд и судеб, что если бы можно было обо всем поведать, повесть не имела бы конца.

### КАНАЛ ГРИБОЕДОВА

Этот канал очень странно вплетается в ткань петербургских улиц. Если пойти вниз по каналу от Спаса-на-Крови, то вначале его пространство ничем не отличается от привычных линейных улиц и проспектов Петербурга. И только за Банковским мостом канал делает первый неспешный поворот и дальше начинает свое витиеватое движение. От Сенной до Никольского собора самые замысловатые повороты канала изменяют всю стройность пересекающих его улиц. Дома, выстроившись по его берегам, теснятся, мостики выгибают спины. Вдруг открываются неожиданные ракурсы. Совсем близко оказывается купол Исаакия в конце Подъяческой улицы. Возле Никольского собора канал последний раз выпрямляется и втекает в Коломну своими тремя неторопливыми поворотами, точно тремя глубокими вздохами перед слиянием с Фонтанкой.

Его набережные почти всегда пустынные. Только у Харламова моста по вечерам, особенно в белую ночь, жизнь оживает. Два ларька со спиртными напитками по обеим сторонам канала привлекают окрестных жителей. Здесь сложился стихийный клуб. Приходит старый саксофонист, прогуливаются собачники. В тени тополей целуются влюбленные. Звуки саксофона рыданиями уплывают вниз по течению канала вместе с тополиным пухом, листьями, жестяными банками из-под пива. Туда же бросают любовные письма. Невозможность возвращения — вот что привлекает. Ну и, конечно, вещественная память своей любви.

«Господи, сколько золотых колец брошено в этот канал, — со вздохом замечает пожилая писательница Кира Федоровна. — Каждое расставание с любовью отмечено срыванием с пальца кольца и бросанием его в канал». Окна Киры Федоровны выходят на канал между Вознесенским мостом и Подъяческим. Уже многие годы она только и видит этот кусочек города. В свете висящего фонаря осенью летят листья, сыплет дождь. Маслянистыми пятнами отражаются фонари в канале. Зимой канал застывает. Жизнь точно останавливается. Правда, перепады последних петербургских зим не позволяют этой остановке слишком затянуться — наступает оттепель, на поверхности канала появляются проталины. Два марша лестницы отделяют эту уединенную жизнь от набережной канала. Но оказывается, что наступает такое время, когда преодолеть эти два марша становится невозможно.

Какая долгая жизнь на канале, как много воды утекло. Сколько было надежд, ожиданий... Сколько свиданий, огорчений, ссор, расставаний. И при всем этом рядом незаметно протекал канал. Тайный соглядатай, молчаливый хранитель улик. Это только кажется, что его течение, его берега неизменны. Это очередной петербургский обман. Все меняется медленно или, наоборот, стремительно.

Вдруг лихорадочно стали заканчивать благоустройство 6-й и 7-й линий на Васильевском острове. Даже слишком помпезно — с фонтанами, обелиском и несоразмерными фонарями. В одну ночь исчезли развалины кинотеатра «Балтика», и на его месте и на месте маленького сквера, где с кружкой пива любили посидеть василеостровские философы, уже высятся стены нового элитного дома. Исчезла барахолка, торговцы книгами. И умер поэт Вадим Шефнер.

Только комната с шинелью какое-то время еще оставалась неизменной, точно напоминание о другой жизни. В тот понедельник, когда за ночь выпал снег и намело сугробы, все стало медленно сходиться в эту комнату. Какое-то важное последнее свидание должно было здесь совершиться.

### ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Соседка Лида с утра топила титан. Находить дрова теперь стало непросто. Она обходила соседние дворы и помойки в поисках выброшенных ящиков, картонных коробок и прочего древесного мусора. От топившегося титана по всей квартире растекалось надежное тепло. Пол в коридоре блестел, натертый мастикой. В кухне тихонько бормотало радио. Лида любила эти дневные часы. Дочь на работе, внуки в детском саду. За окном снег, а дома тепло, тихо...

Неожиданный звонок в дверь насторожил — кого еще принесло? Ах, да, она совсем забыла о вчерашнем звонке по телефону. Просили передать ключ от угловой комнаты. Лида пошла открывать дверь, досадуя, что затопчут свеженатертый паркет. Вошла маленькая хрупкая женщина с игрушечным лицом. «Извините, — сказала она тоненьким голосом, — я подожду в комнате». Лида пожала плечами. За дверью на лестнице послышались шаги и опять позвонили. Вошел старик в темной шляпе с двумя лохматыми собачонками. Вежливо приподнял шляпу. Лида совсем растерялась. Она не успела закрыть дверь, потому что опять вошли двое: изысканно одетая молодая женщина и высокий красивый мужчина с мягкими седыми волосами и стриженной бородкой. Женщина заулыбалась, сказала, что она только что с поезда. Мужчина молчал и смотрел холодно. Лида поняла, что паркет пропал, и махнула рукой. Она едва успевала открывать дверь — мальчик, которого привел пожилой мужчина, две женщины, профессор с женой...

И вот они сидели все вместе вокруг небольшого стола — графоман, его жена, Дарья, Ирина, ученицы Татьяны Васильевны, Миша с Андреем Павловичем, звездочет, старик с 7-й линии. Кто-то заваривал чай, открыли бутылку вина. На дверце шкафа висела шинель. С фотокарточки смотрел поэт Васильев. Собачки жались к батарее. За окном опять падал снег. И в медленном его движении, точно в песочных часах, было заметно, как идет Время.

Как будто вещь пропавшая нашлась...  
А мы уже привыкли, не искали.  
И, может быть, пойдем теперь едва ли,  
Какая в том таинственная связь.

---

И вспомним не однажды этот дом,  
Шинель в углу, вчерашние газеты,  
Оставленную флейту, метроном  
И быта довоенного приметы.

Нас Новый год настигнет на бегу  
По набережной вдоль оград и арок,  
И будет петербургский двор в подарок,  
Палаццо итальянское в снегу.

Затопим печь, накинь пока шинель,  
Я книгу отложу, свечу задую,  
Смотри, как снег ложится на постель,  
И ангел дует в трубку золотую.

Вся наша жизнь с тобой — одна строка,  
А как хотелось бы стихотворенье...  
Окно во двор, зима — всего мгновенье,  
А дальше — ожиданье на века.

Лида прислушалась. В комнате молчали. Требовательно и настойчиво зазвонили в дверь. Лида открыла. Двое мужчин решительно вошли в прихожую. «Мы по поводу расселения квартиры. Можно осмотреть помещения?». Лида растерялась, потому что вспомнила, что именно с этой целью вчера и звонили по телефону. Но кто же тогда все эти гости из комнаты? Не слушая ее объяснения, деловые люди шумно пошли по коридору, уверенно открывали все двери, подходили к окнам, прикидывали метраж. Лида осторожно нажала медную ручку. Дверь отошла. В комнате никого не было. Только шинель вызывала ощущение чьего-то присутствия. Голоса деловых людей доносились уже из дальних комнат квартиры. Лида медленно прошла по коридору, открыла входную дверь и выглянула на лестницу. У высокого лестничного окна кто-то сидел на подоконнике и что-то записывал в тетрадь.

Если с чьей-то души я камень сниму,  
То я проживу не напрасно.

*Эмили Дикинсон<sup>1</sup>*

Гуси летели высоко над озером. Серое небо без облаков кропило землю мелким дождем. Косяк летящих птиц оглашал осеннюю тишину гортанными криками. Внизу полыхало разноцветье осени: красные листья осин и рябин перемежались с желтой листвой берез, среди которых выделялись островки темных елей и полоска золотистого тростника, обрамляющего берег.

Кристин Стенерсен, молодая женщина, провизор из аптеки деревни Нижняя Райвола<sup>2</sup>, по просьбе доктора Акселя шла отнести лекарства тяжело больной Эдит Сёдергран. Женщины познакомились в приемной у доктора. Эдит страдала чахоткой. Кристин знала про эту болезнь из университетского курса. Она с большим сочувствием отнеслась к молодой женщине. Доктор говорил ей о талантливости фрекен Сёдергран и дал сборник ее стихов, которые поразили Кристин своей искренностью, необычностью формы, любовью к природе и людям. Некоторые стихотворения запомнились ей.

Кристин проводила взглядом улетающих птиц со смешанным чувством грусти и восхищения. Грусти — потому что их отлет возвещал окончательный приход осени, и восхищения отвагой птиц, не побоявшихся дальнего и опасного перелета.

Эдит с матерью, фру Хелен, жили постоянно в доме, который раньше служил летней дачей, но впоследствии был приспособлен для проживания и в зимнее время. Дом стоял за оградой одноглавой православной церкви. С холма открывался вид на озеро и стрелку далекой дамбы — перемышки. Кристин застала хозяйку на крыльце. Рядом на скамейке, свернувшись клубком, лежал полосатый кот.

<sup>1</sup> Перевод Г. Бена. Цит. по: *Георгий Бен. Избранные переводы. Поэзия. Драматургия. Проза. Статьи.* — СПб.: Петрополис, 2015. — С. 149.

<sup>2</sup> Низменная часть поселка на берегу реки Райволаниоки называлась Нижняя, или Русская Райвола, в то время как старая деревня, располагавшаяся на холмах, называлась Верхняя, или Финская Райвола, в ней проживало карело-финское население. (*Балашов Е. А. Карельский перешеек — земля неизведанная. Ч 1.* — СПб.: Нива, 2005. — С. 161–169.

• **Илья Данциг** родился в 1927 г. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт имени И. П. Павлова. Врач-фтизиатр высшей категории, кандидат медицинских наук. Автор более 70 научных работ. В журнале «Звезда» (2014) опубликован его рассказ «Мирри из Мюллюпельто». Проживает в Санкт-Петербурге.

«Здравствуйте, фрекен Сёдергран», — Кристин про себя отметила бледное лицо, темные круги под глазами и худобу Эдит. Ее можно было назвать миловидной: копна светлых волос, высокий лоб, тонкий прямой нос, красиво очерченный рот, и главное — удивительные светло-голубые глаза, невыразимо грустные. «Я принесла вам микстуру от доктора Акселя». — «Спасибо. Вы видели стаю улетающих гусей? С давних пор, когда я их вижу, у меня возникает сильное желание оставить все на земле и, поднявшись ввысь, лететь с ними», — Эдит замолчала, переводя дыхание. Кашель мешал ей говорить, она достала платок и поднесла его к губам. Кристин заметила на платке пятна крови. «Садитесь, Кристин, я рада вашему приходу. Меня не часто посещают, мы с мамой живем замкнуто». Кристин села на скамейку, потревожив кота, и он, распушив хвост, скрылся на террасе. «Доктор Аксель дал мне ваши стихотворения. Они мне очень понравились». По лицу Эдит пробежала улыбка: «Вот как? Я пишу стихи для души, не относитесь к ним строго. Они несовершенны, и все-таки я их люблю. Это мои дети: есть хорошие и плохие, но для меня они — смысл существования. Иначе зачем страдания?»

Эдит на минуту задумалась и прочла:

Я жизнь мою в горячке прожила,  
Но как мне удалось, сама не знаю,  
Найти страну, которой нет<sup>3</sup>.

Кристин в тон ей продолжила, вспомнив начало:

По той стране, которой нет, тоскую,  
Ведь то, что есть — желать душа устала,  
А светлая луна серебряные руны  
Поет мне о стране, которой нет.  
Там исполнение желаний наших,  
Там нет цепей. Там лунная роса  
Ложится на пылающие лица.

«Вы запомнили это? Значит, я чего-нибудь стою, — Эдит рассмеялась. — Благодарю вас, фрекен Кристин».

Ветер нагнал тяжелые черно-серые облака, дождь пошел сильнее, озеро подернулось темной рябью. Кристин, попрощавшись с хозяйкой, поспешила в аптеку.

Анна-Луиза, пожилая женщина из деревни Верхняя Райвола, обеспечивала семью Сёдергранов молочными продуктами, а кроме того, убирала в доме и топила печь в той половине дачи, где жили женщины. Сегодня Анна-Луиза принесла им свежее молоко, сметану и творог. Сёдерграны уже задолжали Анне-Луизе, хозяину продовольственного магазина, портному и многим другим. На Эдит бедность действовала угнетающе.

Анна-Луиза прошла на кухню, отдала фру Хелен продукты и пошла за дровами. Принесла охапку дров, растопила печь и хмуро взглянула на Эдит: «Вы сегодня что-нибудь ели, фрекен? У вас нетронутая осталась вчерашняя еда». — «Анни, у меня совсем нет аппетита, не хочется есть». — «А надо бы, видите, как вы поху-

<sup>3</sup> Цит. по: Сёдергран Э. Возвращение домой. Стихотворения / Э. Сёдергран ; пер. М. Дудина. — Л. : Детская лит-ра, 1991.

дели». — «Анни, мы задолжали вам. При первой возможности вернем долг. Мне должны прислать из Хельсинки деньги». Эдит надеялась на Хагер Ульссон, свою давнюю подругу, хорошо знакомую с издателями; один из них заинтересовался творчеством Эдит. «Хорошо, что вы затопили. Мне все время холодно. Анни, я не доживу до следующей осени, эта последняя...» — «Что Вы, фрекен Эдит, выпейте микстуру доктора Акселя, садитесь ближе к печке и выбросьте эти мысли из головы. Деньги приходят и уходят, а мы как-то сводим концы с концами».

Анна-Луиза вскипятила молоко, перемешала творог со сметаной и заставила Эдит поесть. Дождь кончился. Осенние сумерки скрыли тропинку, ведущую к дому. Кусты почернели. Анна-Луиза, пожелав Эдит доброй ночи, ушла. Комната наполнилась одиночеством. Полосатый Тотти, громко мурлыкая, расположился возле Эдит на своем коврикe. Эдит села за стол, зажгла лампу и, погрузившись в свои мысли, начала писать.

Я здесь одна у озера лесного  
Дружу с большой семьей старых елей  
И тайнами сердечными делюсь  
С кудрявыми рябинками.  
Я жду,  
Но никого не видно на тропинке.  
Ромашки мне кивают головами.  
Щекочет шею тонкий стебелек.  
Все это называется любовью.

На столе, кроме старинного чернильного прибора, в рамке из красного дерева стояла фотография молодого мужчины с умными смеющимися глазами, одетого по моде предвоенного времени. Эдит взяла рамку, поднесла ее к близоруким глазам. «Здравствуй, доктор Олаф Уллберг. Где земля, в которой ты упокоился?» Защемило сердце. Вспомнила, как прощалась с ним в 1914-м.

...Она пришла к нему вечером, постучала в окно — дверь в доме была закрыта. Все помнится так, будто это происходило вчера, а не девять лет назад.

Доктор Уллберг открыл дверь. «Что случилось, Эдит?» Он опекал ее, лечил, ободрял, хотя догадывался, что болезнь зашла слишком далеко. Был внимателен к своей пациентке, ценил ее творчество. Эдит просто верила ему, а потом к ней пришло чувство, без которого она уже не представляла себе жизни. «Я надеюсь, тыпустишь меня в дом?» На его лице она увидела растерянность, он не был готов к объяснениям.

Доктор посторонился, пропуская гостью. Едва переступив порог, Эдит торопливо сказала: «Я люблю тебя и понимаю, что война не всех милует». Уже в квартире Эдит осмотрелась: она не была здесь ни разу, раньше они виделись только в клинике. Здесь все было по-иному: уютная домашняя мебель, много акварелей на стенах, в основном пейзажи. Вспомнила, что он рассказывал ей о своей матери — художнице, работавшей в технике акварели. Полки с книгами, в углу штатив и рядом, на столе — громоздкий фотоаппарат. Эдит задернула занавеску на окне. Олле увидел другую Эдит, ее голубые глаза потемнели, на щеках появился румянец, красивая небольшая грудь под батистовой кофточкой стала рельефной. Доктор Уллберг, потеряв голову, обнял ее и стал целовать лицо, шею. Эдит прильнула к нему. Олле погасил свет...

Проснулась Эдит рано утром. Лежала с открытыми глазами. Олле спал рядом, улыбаясь во сне. Она знала, что у него были романы. Последнее увлечение — Дагни Спиллман, дочь хозяина лесопилки; медсестра, недавно вернувшаяся из Африки, где она в составе группы миссионеров оказывала помощь больным. Сейчас ревность отступила в подсознание, ведь Олле был с ней.

Уже одевшись, обратила внимание на акварель, висевшую над кроватью. На ней было изображено озеро, окаймленное темной полосой леса. Что-то угрюмое и отрешенное было в этом пейзаже. Олле открыл глаза: «Почему ты встала так рано?» — «Не хочу, чтобы меня здесь видели. Где находится такое суровое озеро?» — «Это озеро Комо в Северной Италии». Эдит наклонилась и поцеловала Олле. Теперь она чувствовала, что шагнула в тот мир, в котором способна сама принимать решения. Тревожил предстоящий разговор с матерью: фру Хелен не одобряла ее увлечение доктором Уллбергом.

Возвращаясь лесной тропинкой вдоль озера, подумала, глядя на синий простор воды: «А моё озеро — Окамо».

Через неделю на вокзале друзья и пациенты провожали доктора Уллберга. Дагни Спиллман, спортивная, в красивом темно-синем плаще, маленькой шапочке, не скрывавшей тяжелого узла медных волос, стояла рядом с ним. Губы были чуть тронуты помадой. Она улыбалась. Прибыл поезд до Петербурга, куда Олле ехал за назначением в армию.

Дагни и Олле, предъявив билеты, вошли в вагон первого класса. Удар колокола. Короткий гудок паровоза... Путешествие доктора Уллберга в никуда началось.

Кристин стала часто навещать Эдит. Как-то раз она показала Кристин на фотографию Олле и, найдя тонкую книжку своих стихов двадцатого года, протянула подруге, отчеркнув одно из стихотворений.

Пусть реки убегают под мосты,  
Пусть у обочин светятся ромашки,  
И пусть леса склоняются к земле, —  
Мне это все равно, все безразлично.  
И черным стало белое с тех пор,  
Когда не я, а женщина чужая  
Ушла вдвоем с возлюбленным моим.

У Кристин перехватило дыхание. Она не скрывала слез.

«Это все прошлое, Кристин. Олле погиб в 1916 году. Их лазарет попал под обстрел». Эдит, сцепив руки на коленях, еще раз взгляделась в фотографию и убрала ее в стол.

Зима была снежной и не очень холодной. Эдит перенесла дважды обострение болезни, одно из которых сопровождалось легочным кровотечением. Фру Хелен понимала, что болезнь прогрессирует. Кристин не оставляла подругу. Весной озеро разлилось и водной гладью ушло к горизонту, подтопив деревья на берегу. Эдит на веранде, закутанная в одеяло, зачарованно смотрела на свое озеро Окамо. Попросила у матери чернильницу и ручку. Фру Хелен пододвинула к креслу небольшой круглый столик. Эдит начала писать:



В лесах дремучих я блуждала долго  
Тропинкой счастья детства моего.  
В горах высоких я одна искала  
Воздушный замок юности моей.  
В твоём саду веселая кукушка  
Отсчитывает счастье, но не мне.

Задержалась, глядя, как солнце и ветер освобождают озеро от оставшейся у берегов ледяной корки, какими графически подчеркнутыми стали деревья.

Здесь, на севере, весна была поздней. Выглянувшее, наконец, солнце озолотило рябь воды, зеленый туман крон, островки молодой травы. В кустах гомонили птицы. Эдит помогала матери пересаживать цветы в небольшие ящики, украшавшие крыльцо дома.

Соседом Сёдергранов был Пимен Глухов. Их дома разделяла живая изгородь. Границу обозначала канава. Глухов, бывший управляющий фабрики упаковки, нервный, болезненный человек, жил одиноко. За ним ухаживала старая женщина из числа русских, осевших на этих землях, — Марфа Кнурова. Раньше она тоже работала на фабрике. Глухов не любил своих соседей. «Что они воображают о себе? Бедняков корчат. Представляют себя аристократами!» Особенно раздражала Эдит — было непонятно, чем занимается эта чахоточная. «Говорят, пишет стихи. Что это? В них нет рифмы, их трудно понять».

Лучший друг Эдит — кот Тотти — сопровождал хозяйку по саду и с удовольствием грелся на солнце. Но тайный грех Тотти — любовь к охоте на кротов — немудрено тянул его через канаву и кусты к огороду соседа. Пимен Глухов давно невзлюбил кота, появлявшегося время от времени на его грядках, считал его виновником порчи посадок. Однако попросить соседей урезонить кота — это ниже его, Пимена, достоинства. Остается одно — подстеречь и убить разбойника. Эта мысль преследовала Глухова неотвязно. Когда-то он охотился на уток. С тех пор в доме хранилось ружье и патроны. Время шло. Глухов не отказался от своих планов. Он не делился ими даже с Марфой. Однажды она застала его за смазкой ружья, рядом стояла коробка с патронами. У нее возникло подозрение, не хочет ли он свести счеты с жизнью. Верующая Марфа гнала эту мысль прочь, считая хозяина неспособным совершить столь тяжкий грех.

Тотти решил, что время охоты настало. Покрутившись у ног Эдит, он бесшумно исчез за канавой. Глухов сидел у раскрытого окна, когда увидел кота, крадущегося к грядке. Рука потянулась к ружью. Взяв его, подумал, что не потерял прежних навыков. Прицелился. Тотти вот-вот должен был скрыться в листьях клубники. Раздался выстрел. Это жалобным звуком отозвалось на другом берегу озера. Фру Хелен и Эдит вздрогнули. Много лет охота на озере была запрещена.

Вечером Марфа с завернутым в холстину телом Тотти появилась у дачи Сёдергранов. Фру Хелен мыла посуду на террасе, Эдит ушла к себе. Фру Хелен знала Марфу, иногда они встречались в магазине. Она почувствовала неладное, вытерла руки, спустилась к ней. «Чем могу служить вам, госпожа Кнурова?» Марфа положила на землю холстину, развернула ее. Фру Хелен зажала рот, подавляя крик, чтобы не услышала Эдит. «Зачем, зачем он его убил?» Немногословная Марфа с жалостью посмотрела на фру Хелен: «Он не в своем уме. Совершил грех. Поверьте, мне страшно с ним. Простите». Поклонившись, она ушла.

Ближе к ночи Эдит хватилась кота, долго ходила вокруг дачи, призывая его вернуться домой. Обеспокоенная, она обратилась к матери. Фру Хелен, взяв себя в руки, ответила: «Не зови его. Тотти погиб». Эдит закрыла лицо руками и, едва держась на ногах, побрела в комнату. Фру Хелен прикрыла за ней дверь.

Эдит лежала в постели, повернувшись к стене. Она спала, иногда вздрагивая. С кем-то отрывисто разговаривала. Впервые Эдит видела такой ясный цветной сон. Уже взрослой девушкой она шла с отцом вдоль озера по полосе отлива. На мокром песке отчетливо виднелись ее следы. Рядом бежал Тотти. Следы отца и Тотти аккуратно слизывала мелкая волна. Ладонь Эдит покоилась в крепкой руке отца. «Ты выросла, Эдит, стала красивой девушкой, — отец посмотрел на озеро. — Здесь по-прежнему хорошо. Мы обязательно зайдем к маме». Даже во сне, какой-то частью сознания, она понимала невозможность происходящего — ведь отец умер много лет назад. «Где ты был так долго? Мы с мамой очень нуждаемся до сих пор. Я пишу стихи, их иногда печатают, но это не заработок». — «Сейчас все изменится к лучшему. Подлечим тебя, отремонтируем дачу и, может быть, переедем в Хельсинки. Там ты будешь на своем месте: поэты, издатели, другое общество». — «Если только на зиму — без леса и озера я не могу». — «Так тому и быть — на зиму».

Вдали появился человек. Он шел навстречу. Его белые рубашка и брюки хорошо выделялись на фоне деревьев. У Эдит заколотилось сердце. Прямо к ним шел Олле со смеющимися глазами, в руках он держал букетик полевых цветов. «Здравствуйте, господин Сёдергран. Я — доктор Олаф Уллберг». Олле залюбовался Эдит. «Какой хороший день. Вы прелестны, фрекен Эдит. А это кто с вами?» Он нагнулся и погладил кота. Эдит с удивлением заметила, как осторожный Тотти потерся о его ноги.

Откуда-то из-за деревьев голос, похожий на ее собственный, пропел начальные строки стихотворения:

А что же завтра? Завтра без тебя,  
Другие руки с той же самой болью.  
Но я уйду, чтоб сделаться мудрей.  
Потом вернусь в твои глаза обратно  
С другого неба, с новым откровеньем,  
Все с тем же взглядом, но с другой звезды...

Они прошли вдоль линии пляжа. «Какие необычные стихи!» Олле взял мелкий плоский камень и мастерски заставил его проскакать по воде. «Ты выросла как поэт, Эдит».

Так хорошо ей никогда не было. С нею отец, Олле и Тотти. Сейчас они пойдут к маме, и Олле попросит у родителей ее руки.

Эдит стало трудно дышать, появился кашель. Она проснулась и увидела глаза матери. Тревожные, любящие глаза, такие же светло-голубые, какие достались в наследство самой Эдит. «Я услышала твой кашель. Принесла теплое молоко». — «Мама, я не хотела просыпаться. Мне так было хорошо».

Действительность стала враждебной. Жизнь превратилась в страдание.

Двадцать четвертого июня 1923 года фру Хелен, вернувшись из магазина, нашла Эдит мертвой.

Анна-Луиза взяла на себя все похоронные хлопоты. Она послала одного из мальчишек, вертевших возле церкви, за Кристин. Вскоре вся небольшая швед-

ская община знала о случившемся. Доктор Аксель оформил полагающиеся документы у властей. Известили по телеграфу Хагер Ульссон. Сборник стихотворений Эдит уже был готов: Хагер собиралась часть тиража и деньги отправить с оказией, но телеграмма изменила ее планы. Она приехала из Хельсинки днем, привезла сборник и столь необходимые деньги. Появились люди с цветами, среди них много приезжих — Кристин не предполагала, что Эдит так известна среди молодежи и интеллигенции Нижней Райволы. Эдит похоронили на православном кладбище за церковью.

Ветер гнал по синему небу пушистые белые облака, и они отражались в воде. Озеро Окамо голубыми глазами смотрело в небо.

Золотая осень затянулась до конца октября. Дни стояли солнечные, прозрачный воздух был пропитан винным запахом увядания.

Кристин, взяв у фру Хелен последний сборник стихотворений Эдит, в очередной раз поразила внутреннюю стойкости этой хрупкой девушки:

Я не могу  
Без действия прожить,  
И я умру, прикованная к лире.  
Ах, если бы она была прекрасней  
Всех лир на свете, я бы заплатила  
Ей верностью пылающей души.  
Тот, кто руками в ссадинах и шрамах  
Не хочет рушить стену серых буден,  
Пусть погибает молча у стены,  
Он не достоин видеть солнце жизни.

Гуси летели на закате, гортанными криками нарушая тишину. Земля отдавала тепло, и в его восходящих потоках птицам летелось легко. Фру Хелен и Кристин молча смотрели им вслед. Косяк уходил за темную стену леса на противоположном берегу озера.



Владимир  
СЕРКИН

## ДРУГ ШАМАНА

Часто меня спрашивают — почему дальше не публикуешь диалоги с Шаманом? Опубликую, когда «настанет время». Только там другой текст. Повзрослее, и не всем понравится. Потому что развитие обязательно связано с увеличением ответственности.

Каждый день письма получаю от разных людей, которые поучиться особым знаниям у меня хотят. Вот именно этой многочисленной группе очень не понравится. Почему? Почитайте фрагмент из следующей книги.

12.08.2015

Иногда теряю друзей во времени. Не ссоримся, сохраняем прекрасные отношения. И «вместе битвы проходили», и никто никого не подводил.

Заметил это, еще когда начинались «Одноклассники». Находишь школьного или армейского друга или он тебя. Договариваемся, встречаемся, радуемся. С интересом узнаешь о том, что случилось с другом за эти 30—40 лет: «Ну теперь уж будем встречаться, не потеряемся». — «Обязательно!»

И ты не звонишь (не о чем), и старый друг больше не звонит.

А вот с Шаманом дружу уже 18 лет. Сидит, смотрит на розовые закатные облака. Пожалуй, и я присяду, посмотрю.

Когда совсем стемнело, поправили костер и подсели к огню. Вспомнил, что хотел поговорить с Шаманом о дружбе. Но... можно и не поговорить. Мысли того-сегодняшнего раннего вечера, как в зеркале, — помню их, а вопрос, в общем-то, не волнует. Так, помню, что хотел обсудить.

— У тебя друзья есть?

— Ты уже друг.

— Польщен, конечно. А еще появились за эти годы?

• **Владимир Серкин** родился в Якутске (1955). Окончил среднюю школу в Магадане. Служил в армии, работал пожарным, кровельщиком, монтажником, плотником, научным сотрудником. Окончил факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор психологических наук (2005). Работал в Северо-Восточном государственном университете (г. Магадан). С 2011 г. профессор кафедры организационной психологии НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). Опубликовал более 140 научных и научно-методических работ, в том числе три учебника по психосемантике. Автор бестселлера «Хохот Шамана» («Свобода Шамана»). Книга переиздана 24 раза на русском языке, 3 раза на немецком, переведена на болгарский и литовский языки.

- 
- Еще один.
  - Как выбираешь ты?
  - Кто нормальный и успевает за мной.
  - Что значит «успевает»?
  - Заметил, как я изменился, с 1997-го?
  - Честно говоря, нет.
  - А сам ты изменился?
  - За эти годы-то... И сын вырос, и я уж дед. И форма физическая...
  - То есть ты стал другим, а меня видишь прежним.
  - Ну... По-простому, да.
  - А другие люди изменились?
  - Да! Вижу, очень изменились.
  - К лучшему?
  - Кажется, не все. Но это их выбор.
  - Сам задашь мой следующий вопрос?
  - Да. Почему видишь других изменившимися, а меня (то есть тебя) нет?  
*(Шаман утвердительно кивнул).*
  - Мы движемся в одном потоке?
  - Можно и так сказать.

**13.08.2015**

Лежу у костра. Самое темное время суток примерно с полдвенадцатого до полтретьего. Звезды летят. Довольно часто. Читал в сети «по диагонали», что «врата» какой-то группы открылись. Загадываю желания. Звуки дифференцировались. Волна по песку шуршит, дрова потрескивают, ветер по деревьям. И ветер же иногда шоркнет по траве — как шуршит-крадется кто-нибудь в темноте. Мысли, понятно, о медведе.

В этом году их видимо-невидимо. На свалке возле базы ОРПС семь штук в кадре. Вчера по третьему микрорайону бродил пестун. А уж в лесу следов... Но с Шаманом спокойно, при нем не подойдет. «Хоть стада тут будут. Спи спокойно».

Друг Шаман смотрит в темноту, где шумит волна. Молчим. «В потоке» долго. Подумал про поток — сразу вышел из состояния потока. Еще подождал «до первой падающей звезды» (решил, что тогда уместно продолжить разговор).

- Я точно успеваю за тобой?
- В этот период — да.
- А потом?
- Как в море корабли.
- А из старых друзей, из детства, юности остался кто-то?
- Нет.
- (Помолчали).*
- Умерли все?
- Точно не знаю.
- Страшно с тобой.
- А чё приходишь? Живи в городе или с туристами ходи.
- Не-а. Понапрягаюсь немного.
- Цену обдумываешь?
- Помню про ответственность.

- Еще есть и побыстрее ответственности события.
  - Что?
  - Часть друзей можешь потерять.
  - С чего бы?
  - Представь себя 18 лет назад. Стал бы сейчас с таким дружить?
  - Ну, придурковат немножко... Нет, не стал бы. Приятельствовал бы, да. Не самый худший человек. А дружить — слишком узко мыслил.
  - Все твои прежние друзья стали «шире» мыслить?
  - Нет. Некоторые наоборот.
  - Потерялись?
  - Не все. Приятельствуем. Но... может, они просто пошли в свою сторону, а я в свою.
  - Все?
  - Да нет. Но хорошие отношения... сохранены... в основном.
  - Это тоже ценность, береги. Только...
  - Понимаю. Про единомышленников.  
(*Помолчали*).
  - Куда ведет это развитие?
  - Пока не залезешь на гору, не увидишь, что за ней.
  - Все же жутковато.
  - Так не лезь в гору. Живи себе в долине среди своих.
  - Мой выбор. Лезу однако.
  - Не боишься, значит?
  - Боюсь. Осторожничаю. Рассчитываю. Но лезу.
  - Нормально, друг.
- Теперь я самого Шамана друг. Это здорово, пока не привыкнешь к мысли. И тревожно. Потому что Шаману не нужны ученики, неинтересно. Нужны друзья, прошедшие сложный (сравнимый с его путем) путь развития и не оставляющие это (развитие).

### **23.07.2015 О снах (фрагмент раздела)**

Шаман не рассказывает никогда о своих снах. Как-то упомянул, что находит в них решение проблем. У меня, кажется, тоже так бывает. Только я не уверен, что решения оптимальные. Иногда такое поведение может быть и вредным. Неожиданно спросилось:

- Ты видишь огонь во сне?
- Иногда.
- Что это значит?
- Все в контексте.
- Если, например, горит твой дом (*сочиняю вопросы на ходу*)?
- А если, например, горит твой зад (*смеется*)?
- А-а, понятно (*смеется вместе*). Но иногда все же сны не столь очевидны.
- Сны всегда очевидны.
- Почему же столько противоречивых интерпретаций?
- Люди их неправильно читают.
- Что неправильно?

- Сны дают восприятие не одного события, а сразу многих связанных событий.
- Связанных во времени?
- Иногда. Но чаще — связанных по смыслу.
- То есть и о событиях будущего?
- Говорю же, иногда. Но связь по смыслу важнее.
- Но пространственно-временные связи никуда не деваются же.
- В снах это мало имеет значения.
- А все же за какой период события связываются по смыслу?
- За весь.
- То есть прямо с рождения человека?
- Вообще. Прямо с рождения Вселенной, если по вашей науке.
- Ну, те события мало кто может осмыслить.
- От развитости зависит.

### СОН

Что ты скачешь белая  
птица — сирота?  
С вами, мои милые,  
я пойду туда.  
Что ты скажешь, белая,  
уходящим нам?  
С вами, мои милые,  
буду я и там.  
Аль не видишь, белая,  
нашу черноту?  
Все мы будем белыми,  
перейдя черту.  
Неужели можно  
грешника простить?  
Бесконечность вечности  
как вам выносить?

### ЗАКАТ

Пылал закат, чернели зубья гор,  
Хватая страшной пастью облака.  
Из вод бездонных голубых озер  
Вздымалась тьмы тревожная рука.

Упало солнце, цепи мрачных скал  
Алели кровью брызнувших лучей.  
Безумный демон дико прокричал  
О бесконечной чередой ночей.

### ДЕТСКИЙ РИСУНОК

Зеленый остров в синем океане,  
И серый волк по острову крадется.  
Он хочет съесть овцу, овца беспечно  
На берегу реки пасется.

Но вот корабль с головой матроса,  
Матрос следит, и если что случится,  
Он за овцу успеет заступиться.

И солнце есть, и рыба есть, и птица,  
А вот в углу начало самолета,  
А в самолете голова пилота.

Всего на том рисунке семь голов.

### ЮНОСТЬ В СССР

Вы помните? Фрегаты, бригантины,  
Наполненные ветром паруса,  
Чужих морей лазурные долины,  
За горизонт глядящие глаза.

Вы помните? Кому осточертела  
Обыденность и блеклость бытия,  
Убогие жилища надоели,  
Вас неизведанная ждет Земля!

Вы слышите? Прибой у наших окон,  
Уже другой, космический прибой.  
Пора опять построить каравеллы,  
Пора опять расширить мир земной.

Сегодня мы закладываем верфи,  
Придется все отбросить, жить в нужде,  
Но мы не жрать пришли на эту Землю,  
Пришли, чтобы лететь к своей Звезде.

Вы слышите? Кому осточертела  
Обыденность и блеклость бытия,  
Квадратные хрущевки надоели,  
Нас неизведанная ждет Земля!

### УЛЕЧУ В МАГАДАН

Сяду в самолет. Сяду, улечу в Магадан.  
Синие моря. Белые снега.  
Сяду в самолет. Сяду, улечу в Магадан.  
Радуги дождей. Черная пурга.



*Припев:*

Трудно добраться до Магадана,  
Нет ни дороги, ни каравана.  
Но мое сердце летит сквозь туманы  
До Магадана, до Магадана.

Молодость моя. Странные лихие года.  
Верные друзья. Лучшие враги.  
Молодость моя. Больше не вернуть никогда  
Музыку души — первые шаги.

*Припев.*

Милая моя. Боль моя и радость моя.  
Красные цветы. Черный ледокол.  
Милая моя. Грусть моя и радость моя.  
Я тебя люблю. Это приговор.

*Припев.*

Я купил его себе в утешение. Себе и своей сердобольной первой жене. Больница, где отдавал богу душу мой дед, находилась в районе Таганки, неподалеку от птичьего рынка. Жене он понравился сразу: мягкий, пушистый, как ангорка... А по мне — хомяк как хомяк, разве что с «крыльями» по бокам — маленькие такие кисточки чистого белого цвета, якобы признак высокой породы и элитарности. Короче, на два рубля дороже вышло. Черт с ними, с рублями, после больницы, где я два с лишним часа лицезрел, как баба Рая разговаривает с моим дедом, лежащим без сознания, в параличе, как гладит его по голове, время от времени осторожно откидывая одеяло и проверяя, не переполнился ли целлофановый пакет, прилаженный между его ног... В общем, хомяк был хорошим успокаивающим средством: теплый, пушистый, живой.

Баба Рая не была мне родной бабкой. Дед женился второй раз лет семь назад на соседке по лестничной площадке, женщине относительно молодой и хозяйственной. Дед мой был тот еще хмырь. С придирчивым характером, домостроевским образом мышления и советским взглядом на жизнь, основательно потрепавший нервы своему сыну (моему отцу) и моей родной бабке. Царствие ей небесное.

Деда я любил. Очень. Да и он меня, кстати, тоже. Знаете, как это бывает: что стар, что млад... Внуков всегда любят больше своих детей. Парадокс, но факт. И внуки отвечают, как правило, взаимностью...

На клетку или террариум денег у меня тогда не хватило. Я раздобыл пятилитровую банку из-под болгарских маринованных огурцов, бросил туда первую попавшуюся газету, из которой, предварительно разделив ее острыми зубками, хомяк понастроил себе всяких тайничков и лабазов, куда потом складывал разную снедь, начиная от чипсов и заканчивая кусками мелко наломанных макарон.

Хомяк жрал всё. Всё, что дадут. Но жена сделала его «добровольно-принудительно» вегетарианцем. Чтобы не кусался. Кусался он, правда, один черт. Я глубоко убежден, что состав пищи почти не влияет на агрессивное поведение живущих на земле существ — будь то человек, хомяк или какая-либо другая скотина. Хотя в нашей православной традиции — страсти человеческие постом усмирять. Только все это, как говорит моя мама (убежденная атеистка, кстати), плешь-муде-кронштейн.

• **Максим Жуков** – поэт, прозаик, журналист. Родился в 1968 г. в Москве. Лауреат конкурса Tamizdat (2007), победитель конкурса «Заблудившийся трамвай» (2012) и лауреат Григорьевской поэтической премии (2013). Член Союза литераторов России. Живёт в Евпатории.

---

И я с ней целиком и полностью согласен. Хотя до сих пор не знаю, что за «плешь», какие такие «муде», и при чем здесь неизвестно откуда взявшийся «кронштейн»... Ну да ладно.

Дед вскорости умер, как говорится, не приходя в сознание. Чинно и благородно, не затянув процесс расставания на долгие годы. В данном случае (в случае обширного инсульта) быстрая смерть — хорошая смерть.

Жалко, что у нас запрещена эвтаназия. И странно, что церковь (РП) является одной из самых яростных противниц этого, на мой взгляд, богоугодного дела. Спаситель наш, правда, будучи распят, о милости сей, насколько я помню, с креста не просил... но, думаю, был несказанно обрадован, когда измученный пустынным зноем солдат, отмахиваясь от жалящих слепней и оводов, ударил ему в грудь тяжеловесным римским копьем.

Ну не просил — и не просил. У нас даже если и попросишь — никто не поможет; и не потому, что Бога боятся, а потому, что уголовной ответственности опасаются. А ты лежи с мутным взором, пускай слюни на подушку, ходи под себя, выслушивая рефлекторный мат санитарок и глубокие вздохи вконец одуревшей от тебя родни...

— Как животину твою оголтелую назовем? — моя первая жена всегда выражалась несколько витиевато.

— Почему мою? Вместе ведь покупали... И почему оголтелую?

— Кусается потому что, как псина цепная.

— Вот и назови его, придурка, Тузик, и скажи спасибо, что не лает да не рычит.

— Уж лучше бы рычал. Все-таки какое-никакое предупреждение. А то — цоп исподтишка за палец и в газету с головой — как Калигула какой-нибудь под стол во время вооруженного переворота...

— А ты пальцы к нему в банку не суй. И Светония на досуге перечитай: прятался, по-моему, в момент «вооруженного переворота» Клавдий, и не под стол, а за занавеску в дверном проеме, когда Калигулу по соседству заговорщики на куски резали.

— Все равно... Но Клавдий — не звучит как-то. Пусть лучше будет Калигула. Мне так больше нравится.

— Ну Калигула — так Калигула...

Два дня перед похоронами были чуть ли не самыми тяжелыми в моей жизни. В моральном плане, конечно. Бесконечная беготня по государственным учреждениям, ритуальным конторам, закупка продуктов и спиртного, обзвон всех ближайших родственников, друзей и однополчан. (Какое смешное слово — «однополчане». Помнится, во времена моей юности так шутивно называли не способных бросить две «палки» кряду мужиков). Песня еще такая была:

Где же вы теперь,  
друзья «аднапалчане»,  
боевые спутники мои?

Гурченко, кажется, пела... Впрочем, мне было не до смеха. К тому же дед на самом деле воевал, имел орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и звание старшего лейтенанта.

Его однополчане, кстати, и заказали через какую-то ветеранскую организацию пару венков с надписями на лентах: «Боевому другу от...» и «Искренне скорбим о безвременном ушедшем от нас...», и так далее, и тому подобное. Но это еще

не всё. Они выхлопотали в какой-то заштатной филармонии (ни у кого, кстати, толком не спросив) «духовой оркестр»: квартет сплоченных фанатичной любовью к алкоголю и изрядно потрепанных жизнью музыкантов. О боги мои, боги! Даю бесплатный совет: никогда, слышите, никогда не приглашайте этих мудаков с дудками ни на одно серьёзное мероприятие в вашей жизни! Я всегда поражался тому, насколько сильно музыка может повлиять на нервно-психологическое состояние человека. Казалось бы, что такого: несколько воловьих жил (или стальных, как сейчас), натянутых на кусок полой древесины, и какая-то густо покрашенная шлюха, томно перебирая ноготками, вступает после третьего аккорда:

Я ехала домой.  
Душа была полна...

И всё, конец! Я весь вниманье, весь я слух. И если бы я даже не знал языка и не симпатизировал этой покрашенной, с позволения сказать, исполнительнице, меня бы все равно цепануло... Я уверен: магия звуков гораздо выше магии красок и слов. А тут, представляете, три с духовыми и один с ударными...

За похоронными заботами, за беготней, за решением всяческих организационных задач душевная боль как-то притупляется, становится глуше, уходит на задний план. Деда уже не вернешь, значит, надо терпеть, свыкаться, приспособиться к этой жизни без его дурацких (и не очень) восклицаний типа: «Молчи! Молчи! Ты как... о Леониде Ильиче говоришь?! Ну-ка — цыц! Посадят тебя, дурака разговорчивого...»

Когда гроб, выставив его предварительно на полчаса у подъезда для прощания, подняли и понесли, продвигаясь в сторону припаркованного неподалеку автобуса с надписью «ритуальный», мне в спину, словно гром среди ясного неба, долбанул начатый откуда-то с середины, с фальшивыми нотками и придыханием, похоронный марш. Кое-как сдерживаемые слезы после надрывного причитания бабы Раи над гробом тут же прорвались наружу и потекли неостановимым уже потоком по моим щекам. Мне было неприятно, что меня видят в таком состоянии. Подумают еще: «Ну вот, внук-то у Федора Ивановича нажрался уже...» А я, как говорится, ни в одном глазу... Во всем виновата музыка, конечно, и эти гребаные ветераны, дружно заполнившие второй автобус, чтобы проводить своего однополчанина в последний путь.

Единственное, что хоть как-то помогло унять мои рыдания, — молодая мамаша из соседнего дома, движимая любопытством, подкатившая коляску со своим малышом к месту прощания. Я увидел ее уже из салона автобуса. Ребенок, оглушенный музыкой и обделенный на миг вниманием со стороны своей матери, стоял в коляске по стойке «смирно» и тоже, как часть «проводящих», медленно плакал. Медленно и молча. Это зрелище меня, как ни странно, слегка успокоило, я еще вспомнил строки одного талантливого поэта:

Собралась воронья стая  
со всего микрорайона.  
Сын в коляске едет стоя,  
как министр обороны...

Полегчало. Почти до самого кладбища...

Не прошло и полгода после того, как деда кремировали. (О гигиенической пользе этого малоприятного мероприятия он, будучи в приличном подпитии, любил порассуждать в особо грубой и циничной форме; о чем, конечно, распрстраняться здесь я не считаю нужным).

Кличка Калигула, данная моей женой нашему хомячку, прижилась только наполовину. В домашнем обиходе мы его стали называть просто Гай, как, впрочем, если верить историческим справкам, в дворцовом обиходе звали самого Калигулу. Жил он все так же — в пятилитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов. Молодости всегда, как правило, сопутствует безденежье — печально, но факт.

«В минуту жизни трудную», когда подступала грусть и наваливались мрачные воспоминания, я брал в гастрономе «чекушку» и пачку кукурузных хлопьев; как закуска они, конечно, почти не шли, но не было большего развлечения, чем, махнув сотку, бросить в банку хомяку пару катышков этой дряни. Даже если он спал (а спать он любил еще больше, чем жрать), он тут же просыпался и накидывался с умопомрачительной жадностью на эту откровенную профанацию съестного: немного кукурузной муки, консерванты, пищевой краситель и вкусовые добавки. Присыпанная небольшим количеством сахарной пудры пустота. После молниеносного броска голова Гая моментально превращалась в объемный пушистый шарик. Глаза, и без того малюсенькие, сжимались до размера еле различимых хитрющих щелочек; все, что не помещалось во рту, он загребал под себя и замирал в радостном экстазе, как пятиклассник над стыренным у родителей порножурналом.

Глядя на эту меховую иллюстрацию животной глупости и сладострастия, я частенько вспоминал слова покойного деда, не раз сказанные им накануне моей поспешной и малооправданной, на его взгляд, свадьбы:

— Рано. Рано, внучек, женишься. Только из армии пришел. Не нагулялся еще...

Баба Рая при этом тихо вздыхала и, как правило, ретировалась на кухню. Я не возражал. Зачем? И так все ясно. А спорить с ним не имело ни малейшего смысла. Он всегда оставался при своем мнении...

Не прошло и двух лет после того, как я, «испачкав паспорт», поселил свою ненаглядную в нашу (совместно с матерью) малогабаритную «двушку» и начал постигать «науку сложную супружеских измен» (как говорится: жена — женой, а разнообразия хочется).

В скорости возникли первые проблемы: несовпадение привычек, несовместимость характеров (две хозяйки на одной кухне) и моя патологическая склонность к разврату в самой худшей его, в самой «неразборчивой» форме.

Нам с женой как-то быстро стало неинтересно вместе. А порой даже смертельно скучно и муторно.

Задним числом вынужден признать: дед оказался прав. Я поторопился. Неоправданно глупо поспешил, как Калигула, набравший полный рот сладкой и фальшивой пустоты, в искреннем убеждении, что делает очень вкусные и высококалорийные, а главное, крайне необходимые ему на данный момент запасы...

Так мы и жили: я с воспоминаниями и чекушкой, хомяк — с кукурузными хлопьями за раздувшимися щеками, и жена... Она вообще жила какой-то своей полуотдельной журналистской жизнью (стажировалась в «Совраске»), и когда её спрашивали мои «куртуазные» друзья: «Где изволите горбатиться, сударыня?» — она с гордостью отвечала: «В газете “Советская Россия”, мессир».

Абзац — полный.

Но жизнь не стоит на месте. Все в ней, говорят, повторяется, как минимум, дважды: один раз — как трагедия, второй раз — как фарс. Я не уверен, что изложенный мною ниже случай можно воспринять как фарс, но что-то гротескное в нем, безусловно, просматривается...

Начну по порядку. Лето в том году было жарким. Очень жарким. И хотя август подходил к концу, парило невыносимо. В тот день меня вызвали на работу. В мой законный выходной. Произошел какой-то сбой в графике дежурств. В общем, надо было отлучиться на пару часов.

Уходя из дома, я постучал по банке с хомяком. Хомяк недовольно зашевелился, поводит мордой и зарылся поглубже в газетную труху. Это было странно. Обычно он после пробудки сразу же начинал просить жрать... Я склонил лицо к краю банки, чтобы посмотреть, не заболел ли наш питомец, и тут же мне в нос ударил резкий запах застарелого хомячьего помета. Все понятно. Я бы от такого запаха тоже приуныл.

Уже в дверях я многозначительно указал на банку говорящей по телефону жене и жестами дал понять, что неплохо было бы заняться бедным Гаем и навести у него в жилище хотя бы относительный порядок. Жена, продолжая трепаться (с заместителем главного редактора «Совраски», кажется), нагнулась над банкой, понюхала и, брезгливо морщась, выставила ее за окно на небольшой деревянный ящик, приделанный к карнизу со стороны улицы и добротнo обитый оцинкованной жостью: вещь в хозяйстве абсолютно незаменимая, особенно когда в твоей квартире, расположенной на первом этаже, нет ни лоджии, ни балкона.

День выдался хоть и жарким, но каким-то переменнo-облачным. Солнце то выглядывало из-за туч, то снова в них пряталось. Примерно через час, разобравшись со всеми делами на работе, я попробовал дозвониться жене, сказать, чтобы ждала и приготовила поесть, а то вечно у нее обед не дождешься... Напрасный труд. Дома сплошняком было занято. После десяти минут бесплодных попыток я попрощался с коллегами и поспешно двинул в сторону дома. На улице как-то распогодилось, тучки растворились, и солнышко стало активно накалять кривой московский асфальт, вот уже несколько десятилетий плохо укладываемый «понаехавшими» из дальних краев разгильдяями.

Когда я открыл входную дверь и увидел жену, все еще оживленно треплющуюся по телефону, я еле сдержался... Ну сколько можно? На самом-то деле. И Калигула, небось, не мыт, не чищен!

Жена показала «викторию» из двух пальцев: все, мол, еще пару минут, и заканчиваю. Это меня несколько успокоило, но лишь до того момента, пока я не увидел банку с Гаем, выставленную за окно и попавшую под яркие лучи августовского полуденного солнца.

Это был даже не «полный абзац»: это был самый настоящий безжалостный ад законного яростного солнцепека.

Оцинкованная жость. Прозрачное стекло. Открытое место.

Калигула лежал на боку, глаза его были закрыты, шерсть покрылась предсмертной испариной... No comments. Помочь ему было уже нельзя. Я взял банку и осторожно поставил ее на холодильник. Через минуту на кухню вошла, позевывая и потягиваясь, наговорившаяся по телефону жена.

— Алена, подойди ко мне.

— Да ну тебя, мне обед готовить надо...

— Иди, иди. Вот сюда, к подоконнику.

— Это зачем?

— Ну, подойди. Подошла, молодец. А теперь вытяни руку за окошко и положи ее на ящик.

— Ой, горячо-то как! А... Кали...

Я снял еще теплую банку с холодильника и поставил перед нею на стол...

Так не плакал даже я на похоронах своего дедушки...

Наполнив стакан водой, я накапал туда валокордина и заставил ее выпить эту фигню до самого дна.

— Единственное, что могу добавить, Алена: умер он в страшных мучениях. Прыгал, наверное, перед смертью, как грешник у черта на сковороде... Меньше надо по телефону трепаться с заместителями всякими совраскиных главных редакторов.

— Мне хотят материал серьезный доверить, для статьи... Надо было все обсудить, все выяснить...

— Ну, можешь перезвонить ему и доложить, что у тебя уже есть один «серьезный материал» и даже рабочее название к нему: «Как я зверски замучила и убила Гая Юлия Цезаря (по кличке Калигула) из династии Юлиев-Клавдиев». Не очень длинно, кстати, для передовицы?

Тут я бы кое-что уточнил. Два дня назад у нас в гостях побывал один «видный эксперт по грызунам»; и после того, как мы с ним распечатали третью бутылку, он, осмотрев Гая с ног до головы, авторитетно заявил: «А Калигула-то ваш — девочка...»

Я не очень-то ему поверил (на рынке нас полчаса уверяли, что это мальчик), однако жене сказал:

— Вот видишь, если бы мы его Клавдием нарекли — могли бы сейчас хотя бы в Клаву переименовать. А так, что теперь с ним делать?

Что ж, делать теперь действительно было нечего. Я взял банку и отправился к ближайшему от нашего дома мусорному контейнеру. Будем расценивать как несчастный случай. Вот и все дела...

Я видел бабу Раю в последний раз на поминках, через год после смерти деда. Посидели, вспомнили его несносный характер, первые проявления которого, в тайных и загадочных хитросплетениях собственной души, я начал замечать уже с самого раннего детства... На поминках, слава Богу, не было ни дальних родственников, ни суетливых ветеранов, произносящих псевдопатриотические тосты и картинно пускающих «скупую мужскую слезу». Закончилось все мирно. Почти без слез и причитаний.

Потом мы несколько раз говорили с ней по телефону. Она предлагала сходить на кладбище — «проведать деда»; делилась планами переезда с дочкой от первого брака в ближнее Подмосковье. Природа, грибки, ягоды...

Я выразил сомнение в том, что в ближнем Подмосковье сейчас намного лучше с экологией, чем собственно в самой Москве, признался, что развожусь со своей, что развод проходит как-то неорганизованно и нервно, и что в ближайшее время не смогу составить ей компанию.

По-моему, она даже не обиделась.

Ничего не напишешь: мы с ней чужие люди, и то, что нас связывало когда-то, медленно, но верно уходит все дальше и дальше, путаясь в обрывках воспоминаний и выгорая на солнце, как позолоченные буквы на могильной плите в той плохо ухоженной части Хованского кладбища, где расположен старенький колумбарий с прахом моего горячо любимого и до сих пор живущего в самых потаенных глубинах моей памяти — деда.

Такой вот плешь-муде-кронштейн.



Мария  
ВАТУТИНА

## СТИХИ

### РАЗНЫЕ ЗВЕРИ

#### БЕГЕМОТ

На обмылок он похожий,  
И как глыба он большой.  
Он родился толстокожий,  
Но с красивою душой.

Как судьба несправедлива  
К бегемотам и слонам:  
То, что внутренность красива,  
Не понять снаружи вам.

Внешность — ужас, вес — опасный...  
Вот еще медведь и морж...  
Здравствуй, бегемот прекрасный!  
Только ты меня поймешь!

#### КОТ И КОШКА

У кота была подружка.  
Щечка к щечке. К ушку ушко.  
Сядут целовательно  
И урчат мечтательно.

Все их любят: я и вы, —  
Потому что лас-ко-вы.

#### ЗАЙКА

Баю-баю-баиньки.  
Засыпают зайньки.  
Ушками закрыли глазки.  
Снятся им не сны, а сказки.  
В сказках зайки — смельчаки.  
В сказках зайки — маль-чи-ки.

• **Мария Ватутина** – русский поэт. Член Союза писателей России. Окончила литературный институт имени А. М. Горького. Публиковалась во многих литературных журналах. Лауреат литературных премий, в том числе «Antologia» (2010), Международной Волошинской премии (2011), Бунинской премии (2012), премии журнала «Октябрь» (2012). Живет в Москве.



---

## КОРОВА

Корова на поле пасется,  
От счастья поёт и смеется,  
Танцует, сбивая стога.

Зачем же корове мирной —  
Молочной, творожной, кефирной —  
Такие большие рога?

Наверное, для обороны,  
Наверное, вместо короны,  
Цепляясь, взлетать в облака.

Возьми носорога — рогатый,  
Но грустный и очень бодатый.  
И нет у него молока.

## КРЫСА

Крыса — это мышь большая,  
Только умная совсем.  
Тишины не нарушая,  
Ходит ночью без проблем.

Сядут с крысою-соседкой  
В кресла, включают DVD,  
Выпьют кофе за газеткой,  
С замиранием в груди.

Рассуди, любому нужен  
Дом, уютный уголок,  
Лучший друг и вкусный ужин:  
Хлеб и плавленый сырок.

А кругом в тепле, в уюте  
На кроватях в дебрях тьмы  
Спят божественные люди,  
Спят людские боги — мы.

## ЁЖ

Ёжика руками не возьмешь.  
Ёжика с подливочкой не съешь.  
Ёжик он ведь тем-то и хорош,  
Что ему никак не надоешь.

Хорошо нам с ёжиком дружить,  
Хорошо на нем грибы сушить,  
Прятаться от бук в глуши лесной —  
За широкой ёжика спиной!

### РЫБКИ

Час на бережке лежу,  
Час на удочку гляжу.  
Полежу еще часок,  
Погляжу на поплавок.

А в подводной толще вод  
И вокруг грузила  
Рыбки водят хоровод,  
Чтоб теплее было.

Все они продрогшие,  
Все они промокшие.  
Я им бросил червячка,  
Я сегодня без крючка.

### КУРИЦА

На небе солнце хмурится,  
Заходит в облака.  
А курица-Кустурица  
Вся светится слегка.

Она, как шарик, катится  
В кусты искать зерна.  
И с нею день наладится,  
Веселая она.

Сидит в траве по горлышко,  
Пушистые бока.  
Она сама как солнышко –  
Цыпленок ведь пока.

### ОСЛИК

Что мы думаем об ослике?  
О его ушах и хвостике?

Если правду говорить,  
Ослик любит погрустить.

И куда бы мы ни ехали,  
Хоть за грецкими орехами,

Хоть за греками в Стамбул, –  
Ослик встанет, как уснул,

И давай грустить-печалиться,  
Словно в нем бензин кончается.

Словно дальше он пойдет,  
Только если смысл поймет!

Осознает цель, киваяючи!  
Жизнь как чудо осмысляючи!

А осмыслит — сразу в путь.  
Пожалей его чуть-чуть:

Он не странный, он не бешеный,  
Он лишь — неуравновешенный.

Или попросту — честней  
Прочих пони и коней.

#### МЕДВЕЖЬЯ ПЕСЕНКА

Я — медведь, веселый зверь,  
Очень добрый я, поверь.

Только мне и надо:  
Плитку шоколада,

Сушек, тортиков чуток,  
Сладких ягодок лоток,

Банку меда покрупней  
Да из речки окуней.

Чтоб я был могучий!  
...Так, на всякий случай.

#### КОЗА

Коза мила во всем, когда молчит,  
Постригивая белыми ушами,  
Когда траву сечет, козлят растит  
И производит молоко ковшами.

Все б ничего: и вымя, и репей  
В боку её, и величают — Зиной...  
Вот только вечной жалобой своей  
Она весь облик портит свой козлиный.



Максим  
ГЛОТОВ

## СТИХИ

### ГОРОДОК БОРИСОГЛЕБСК

В городок Борисоглебск,  
В мир неспешный, двухэтажный,  
В дымку дальних детских мест  
Взять и убежать однажды.  
По дороге в Волгоград  
Задержаться на вокзале,  
Где часы всегда спешат,  
И где пахнет пылью в зале.

Городок Борисоглебск —  
Дымка дальних детских мест.  
Как тревожит это имя —  
Городок Борисоглебск.

Что я помню? Только тени  
Тихих улиц городских,  
Дом с крылечком в три ступени,  
Да дверей противный писк.  
Смутно помню чьи-то лица,  
Разговоры в полутьме...  
Нет, не вспомнить — что, но мнится:  
Это очень важно мне.

Городок Борисоглебск  
Дымка дальних детских мест.  
Как тревожит это имя  
Городок Борисоглебск.

Облака плывут по небу.  
Города плывут в окне.  
И зачем туда я еду?  
И чего там нужно мне?

Ни друзей там, ни знакомых.  
Был лишь в детстве всего раз.  
Но зовет, зовет из дома  
И зачем-то манит нас.

• **Максим Глотов** (1962). Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова. Владеет китайским и английским языками. Работает в банковской сфере. Живет в городе Егорьевске Московской области.

---

Городок Борисоглебск  
Дымка дальних детских мест.  
Повторять твоё название  
Никогда не надоест.

\* \* \*

Дни осени провинциальной  
В старинном русском городке,  
Где вечер синий, шелест дальний  
На умирающей реке,  
Где пахнет яблоком, золою,  
Где каждый шаг мой — в детство шаг.  
Случайный поворот откроет  
Забывший почерневший сад...  
Я стал мудрее и печальней,  
А верю в искренность примет.  
Дни осени провинциальной —  
Уединенности просвет.

### *ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ*

#### **Ален Тейт**

ИЛИ — ИЛИ

Я часто думал, почему  
Она при мне смеется так,  
Ведь так беспечно рук моих  
Касается её рука.

И вот пришел прощанья час.  
В тени дерев, отбросив страх,  
Коснулся тонких пальцев я,  
Почти к признанью сделав шаг.

Наш не сложился разговор,  
Признаюсь, это был финал.  
Но я гадаю до сих пор,  
Что её милый смех скрывал.

#### **Роберт Ли Фрост**

ВГЛУБЬ САМОГО СЕБЯ

Шепчу слова: хочу, чтоб деревья,  
Что стары и сухи, шумят едва,  
Не были образом печальных дней,  
Но вдаль вели к гибели моей.

И день придет — меня охватит страсть  
В той вечной протяженности пропасть,  
Без страха, что найду судьбы исток,  
Где мерно с жернова течет песок.

Навряд ли я тогда вернусь назад.  
Лишь разве те, кто следом поспешат,  
В тоске по мне мой оборвут уход,  
Надеясь — к ним любовь моя живет.

Что ж, я вернусь такой же, как и был —  
Я лишь свое желанье укрепил.

#### СНЕЖНАЯ ПЫЛЬ

Вдруг ворона  
На плечи мне  
Сбросила с кроны  
Легчайший снег,

Сбив с сердца тень,  
Выгнав напасть,  
И стал светлым день,  
Что успел я проклясть.

#### Эмили Дикинсон

656

А имя — ее — «Осень» —  
Палитра — ее — кровь —  
В артериях — по горочкам —  
И в венах — вдоль дорог —

Аллеи — акварельны —  
Но, ах, мазков салют —  
Ветра — сваливши чашу —  
Багряный дождь прольют —

Закавав шляпки — ниже —  
Луж собирая ржавь —  
Умчит — колеса алые —  
Смерч розовый подняв.

828

Дрозд означает — тот,  
Кто Утро оборвет.  
Спешит — свистя — сказать о том,  
Что Март придет вот-вот.

Дрозд означает — тот,  
Кто полдень всклянь зальет  
Потоком ангельской красоты,  
Пока Апрель цветет.

Дрозд означает — тот,  
Кто тишиной гнезда  
Расскажет — Дом и есть — Оплот,  
А Простота — свята.

.....  
Для ног других теперь мой сад —  
Земля — для рук других —  
В ветвях тоскует Трубадур  
В уединенности.

Других усталость ждать должна —  
Другим играть в траве —  
Но так же не спешит Весна —  
И пунктуален снег!

*Перевод с английского М. Готова*

#### *ИЗ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ*

##### **Лю Фан Пин**

##### **ОСЕНЬ. И НОЧЬЮ ПЛЫВУЩАЯ ЛОДКА**

Ночью протокой заросшею лодка плывет.  
Шум тростника, комаров неумолчный полет.  
Блики на воду сыплет без счету луна,  
Тысячей звуков гулкая осень полна.  
Зрелым цветением воздух насыщен ночной.  
Дума о родине вечно со мною живет.  
К северо-западу, скрытому туч пеленой,  
Неумолимо уносит, уносит волна.

*Перевод с китайского М. Готова*



Эрих Мария  
РЕМАРК

## СТИХИ

В 2007 г. в Цюрихе увидел свет сборник поэзии «Тайные стихотворения» («Heimliche Gedichte»). Составители включили в него стихи многих известных прозаиков, писавших и пишущих на разных языках. Авторы публикуемых в книге поэтических произведений объединяет одинаковое отношение к их попыткам проявить себя и в роли стихотворцев — они, как правило, соблюдают дискретность, не желая, чтобы коллеги или читатели знали об этой стороне их жизни, часто оценивают их с оттенком самоиронии, и вместе с тем в глубине души многие прозаики рассматривают свои стихи как что-то очень интимное, сокровенное. Из немецкоязычных писателей в книге представлены А. Андерш, Г. Белль, Ф. Дюрренматт, П. Зюскинд, Р. Музиль, М. Фриш и др.

Э. М. Ремарк в книге «Heimliche Gedichte» не представлен. Причин, по которым его имя в этой книге отсутствует, на наш взгляд, несколько. Во-первых, стихи Ремарка стали доступны читательской публике лишь в 1998 г., в год столетия со дня рождения писателя, когда в Кельне был издан пятитомник «Das unbekannte Werk» («Неизвестные произведения»). Во-вторых, в этом могло сказаться и несколько сдержанное отношение к творчеству Ремарка и его месту в немецкой и мировой литературе со стороны отдельных представителей европейской интеллектуальной элиты. В-третьих, стихи Ремарка несколько отличаются от тех, которые составители сочли возможным включить в книгу. Они слишком ремарковские.

Ремарк так же, как и многие другие прозаики, начинал со стихов и в молодости их активно печатал в газетах и журналах. Однако позже он переключился на журналистику, а затем полностью ушел в прозу и стихи публиковать перестал. Но не прекратил их писать. В Архиве Ремарка в г. Оснабрюке (ФРГ) хранится 168 стихотворных текстов писателя. Большая часть стихотворений написана в 30–50-е гг. XX века. Из них опубликовано немногим более трети. Так что в будущем читателей Ремарка ждут новые встречи с его поэтическим наследием.

Э. М. Ремарк и сегодня остается одним из любимых российских читателями зарубежных авторов. Его книги постоянно издаются и переиздаются. Появляются новые переводы известных произведений. Поэтическое творчество всемирно известного прозаика в последние годы также вызывает интерес у его читателей и почитателей, и прежде всего в России.



---

Поэзия Э. М. Ремарка стала уже фактом переводной литературы на русском языке — издана книга его стихов, русские переводы опубликованы в ряде периодических изданий, переводы стихотворений автора помещены в интернете, появляются переводы неизвестных исследователям стихотворных текстов Ремарка (возможно, мы имеем дело с переводческими мистификациями, за которыми не стоят оригинальные тексты). Общее число переводчиков, воссоздававших поэзию Ремарка средствами русского языка, составляет более сорока человек. Среди них и известные петербургские поэты-переводчики В. Васильев, А. Пурин, А. Сыщиков.

Ценной находкой последнего времени оказалось шутивное стихотворение Ремарка 1942 года, посвященное голливудской киноактрисе Луизе Райнер (1910—2014), с которой писатель был дружен. Оно было опубликовано в качестве приложения к изданной на английском языке книге Х. Тимса «Эрих Мария Ремарк. Последний романтик» (Лондон, 2003). Ниже оно впервые печатается в русском переводе наряду с другими стихотворениями великого прозаика и самобытного поэта.

#### ЛУИЗЕ РАЙНЕР

Девушка, вы мне ответьте,  
разве парень я не класс?  
Разве нет во мне достоинств,  
что вы ищите все в нас?

Я силен, не слишком страшен,  
не высок, но и не мал.  
пью совсем немного виски,  
иногда — вина бокал.

Меня, кто знает, уважает,  
ценят все мой острый ум.  
Мил, приятен я порою,  
чаще — гром, огонь, самум.

Женщин я любить умею.  
Мои взгляды ловят все.  
А узнав мою раз силу,  
льнут опять во всей красе.

И наукам я обучен —  
наших дней и старины.  
И за книги, что пишу я,  
мне читатели верны.

Разве я для вас не пара?  
Так готовы ль вы к ответу?  
Разрешите мне назваться —  
звать меня: «Таких-ведь-нету!»

CIS MOLL

Пред тем как нам с тобой расстаться,  
Позволь склонить чело мне невинно,  
Позволь в твои глаза прекрасные вчитаться  
Безмолвно.

Дай мне мечтать о счастье, об огне,  
Который бы пылал, будь ты моею,  
Когда бы вел тебя я по стране  
Своей, всегда с тобой средь роз немея.

Ко мне хоть на единый миг приди,  
Прими мой лоб в ладони благосклонно  
И губы мне губами разбуди,  
Взмотришь в меня — безмолвно.

<ОН ПАЛ ПОД МОЖАЙСКОМ>

Он пал под Можайском. Все было бело  
от снега и мороза.  
И мороз вмиг сковал его — оледеневший,  
он беззвучно провалился в снег —  
Он тяжелел  
И проваливался все больше и больше  
С каждым днем все больше — и его засыпало снегом  
его часы прожили на день дольше, чем он  
Затем они остановились в половине восьмого  
И затем в декабре и в январе все было белым и ровным

И в феврале, и беззвучно скользили лыжи  
врагов по трехметровому снегу над ним  
В направлении Смоленска.

Затем начались ветра — снег подтаивал  
Затем пришел март и первое мягкое тепло  
Он появился из своей белой могилы  
И как на грязных облаках соскользнул  
с последнего островка снега

И впервые коснулся  
земли.  
И она оттаивала вокруг него  
И его раны открылись  
и начали кровоточить — немного, как будто он лишь  
сейчас по-настоящему умирал

Он лежал на лугу —  
рядом — его винтовка и каска  
и начал оживать как призрак  
он рос — набухал — и шевелился  
как будто видел во сне  
еще раз тот последний бой  
Его черные губы дрожали и  
из его внутренностей со стоном  
восходило тление  
И иногда поднимал он раздувшуюся руку  
Но потом он умер в третий раз  
И скукожился в своем обветшалом мундире  
И прижимался все плотнее и плотнее к земле  
И его лицо было умиротворенным и отрешенным

А под ним таинственно  
шумела весна  
Поле боя снова стало лугом  
Журчали ручейки  
Под ним шевелились корни  
Напирали ростки, пробивали жесткую поверхность земли  
Но все более размягчавшийся китель они пробить не могли

Они приподняли его, но  
под мундиром было темно  
И они погибли  
в то время как  
вокруг расцветали анемоны и подснежники

Но началась жизнь червей и жучков —  
Они были похожи на лис, для которых в тающем льду  
Вырос мамонт — еда на всю жизнь  
Гора мяса —

А земля под ним начала впитывать его в себя  
Его, Иоганна Шмидта из 3-й роты 152-го полка  
Он стекал к корням  
Иногда через него прыгали кролики  
И бабочки сидели на его зубах  
По ночам на него смотрели совы —  
Его так и не нашли —  
Маленький круглый жетон, который остался  
от него  
был найден лишь в две тысячи двести двадцатом  
году  
когда на этом месте строили детскую игровую площадку  
для слепых детей

А до этого на этом месте стоял дом,  
и над ним  
жили и умирали люди, и рабочие  
отбросили жетон, потому что это был лишь кусочек  
изъеденной ржавой жести —

Прошло два года, прежде чем он исчез  
совсем — он был последним, —  
потому что семь других, которые погибли вместе с ним,  
лежали глубже, чем он, и они раньше  
истлели.

Его череп какое-то время как бы висел в воздухе,  
потому что  
молоденькая вишня проросла сквозь его глазницы  
и приподняла его и цвела  
а он глазел в небо, среди соцветий  
без подбородка, потому что нижняя челюсть отделилась  
и осталась внизу

О нем некоторое время горевали  
в Гиссене  
но потом его забыли, потому что  
жизнь становилась все труднее  
И лишь порой его мать повторяла,  
что ему повезло, что он умер  
так рано  
и что ему не пришлось все это пережить,  
но она так не думала.  
Она умерла через семь лет

#### ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Пусть день был мрачен и жесток сполна,  
Разъеденный насмешкой и бедою, —  
Твой поцелуй, твоих волос волна —  
И муки дня забуду я с тобою.

Пусть день беды в безжалостном огне  
В жизнь веру сгложет вновь, подобно зверю, —  
Щекой своей прижмешься ты ко мне,  
И я опять в себя и в жизнь поверю.

И пусть все то, чем жил я, чем храним,  
С начала до конца встает напрасным, —  
Оно прелестно — ведь всегда над ним  
Благословенье рук твоих прекрасных.

Я И ТЫ

Иду своим немым путем  
Сквозь ночи мрак, сквозь ночи мрак.  
Не плачу я, лишь молча я  
Бреду один сквозь ночи мрак.

Пусть путь мой — боль, пусть мрачен путь,  
Но юным сердцем весь горя,  
Я молча лишь склоню главу —  
И снова в путь; ведь знаю я:

Когда-то путь свой я свершу,  
Когда-то день я воскрешу,  
И вспыхнут розы под ногой —  
И я помилован тобой.  
Когда-то утолится страсть,  
Утихомятся мечты —  
Великий миг, глубокий сон —  
Вдруг явь:  
                  едины я и ты!

<ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАНТЕРУ, КАК ЗАГАДКУ>

Люблю тебя, пантеру, как загадку,  
Тебя, в ком сладко жизнь кипит и манит.  
Но кровь твоя меня не одурманит —  
Играю я твоей атласной лапкой.

Когда-то ты была моим алмазом,  
Пока меня не потрясли сомненья —  
Тебя узнать сошлись мои стремленья,  
И стала ликом ты Протея сразу.

Пока ответа не нашел в тоске:  
Две кошки, что в игре так вероломны,  
Две кошки, что, валяясь на песке,

Друг друга стерегут без суеты,  
Любя и ненавидя разом, — но ты помни,  
*Что я непобедимый, как и ты.*

*Перевод с немецкого и предисловие Р. Чайковского*

- **Роман Чайковский** (1939) родился в Украине. Доктор филологических наук, профессор Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан); филолог-германист, переводовед, переводчик. Автор более 300 работ, в том числе 20 книг. Специалист по творчеству Р. М. Рильке, Э. М. Ремарка, В. Борхерта, Б. Окуджавы и других известных писателей.



Владимир  
ПОРУДОМИНСКИЙ

*К 160-летию со дня рождения В. М. Гаршина*

## ГРУСТНЫЙ СОЛДАТ. МЕЧТА\*

*Вокруг замысла*

### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1.

Всеволод Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Папа умер 24 марта 1968 года.

Восемьдесят лет спустя, день в день.

Если не ввязываться в неизбежное выяснение отношений григорианского календаря с юлианским (у нас, в России, это обозначается проще: *новый* и *старый* стиль).

Конечно, между обоими календарями определены точные соответствия.

Но, кроме точности дат, есть еще магия чисел.

2.

Лев Толстой писал:

«Я родился в 28-м году, 28 числа, и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом... И в математике «28» — особое совершенное число, которое равно сумме всех чисел, на которые оно может делиться. Это очень редкое свойство».

В беседе он признавался:

«Мне приятно играть цепочкой часов и наворачивать ее 28 раз... Я рожден 28 года 28 числа».

28 октября 1910 года Лев Толстой навсегда ушел из дома, из своей Ясной Поляны. Через десять дней он ушел из самой жизни — на неведомой прежде железнодорожной станции, в чужом доме, на чужой кровати.

Он прожил на свете 82 года — тоже «2» и «8», но в обратной последовательности. Число уже не совершенное.

3.

После перехода на новый стиль летосчисления день рождения Л. Н. Толстого отмечают 9 сентября. Хотя в нынешних календарях дате соответствует уже 10 сентября.

*\*Окончание. Начало см. в №1(25) 2015 г.*

• **Владимир Порудоминский** (1928) — русский писатель. Созданные им биографии выдающихся деятелей русской культуры выходили в различных издательствах, в сериях «ЖЗЛ», «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях». Широко известны его книги для детей. В отечественной и зарубежной печати публикуются его рассказы и повести, мемуарные повествования, очерки, статьи.

---

Сколько раз *навертывать цепочку* совершенно непонятно.

4.

То же самое с днем рождения Пушкина.

Пушкинское 26 мая принято отмечать 6 июня, хотя сегодня оно падает уже на 8-е.

(Священники, если празднуют Пушкинский день, помнят об этом, поскольку у каждого дня года свои святые.)

5.

Когда-то я сделал радиопередачу о *19 октября, Дне Лицея*.

Поразмыслив, ее дали в эфир 19 октября по новому стилю. Смешно, даже нелепо как-то, было бы приветствовать радиослушателей словами: «Сегодня, 1 ноября, мы отмечаем 19 Октября, Лицейскую годовщину...»

Один тогдашний историк искусств, снискавший славу неутомимого обличителя, написал две жалобы: в радиокomitee на меня и в «Литгазету» на радиокomitee. Он обвинял нас в обмане доверчивого советского радиослушателя (помнится, там было сказано: «морочат голову»). Конечно, самым могучим аргументом в жалобе было празднование годовщин октябрьской революции («октябрьских годовщин») — в ноябре.

6.

Но умница Крейн, Александр Зиновьевич, создатель и многолетний директор Музея А. С. Пушкина в Москве, всякий год открывал сезон именно 19 октября по новому стилю композицией «Да здравствует Лицей!», исполняемой незабвенным Александром Кутеповым.

19 октября нынешнее протягивало руку *тому* 19 октября.

И в непременно до отказа заполненной зале не чувствовалось ни обмана, ни мороки, к которым мы подчас так привыкали, что переставали их замечать, — дышалось свежо, вольно, казалось, крылья вырастали, как говаривали в минуты восторга наши велеречивые прадеды.

7.

Итак, Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Пятью днями раньше, 19 марта, он бросился в пролет лестницы.

На меня в детстве рассказ об этом произвел сокрушительное впечатление.

Это было первое самоубийство, о котором я узнал. Наверно, я вообще впервые узнал, что люди убивают сами себя.

Вскоре мой крепнувший жизненный опыт уложил в копилку еще одно самоубийство. Вместе с мамой работал в диспансере доктор, еврей, со странной, какой-то китайской фамилией Сидзан. Еще не старый мужчина, худощавый, с узким желтоватым лицом. Может быть, мне казалось, что лицо желтоватое — из-за фамилии. Однажды, придя с работы, мама рассказала, что накануне вечером Сидзан приставил к краю стола перочинный ножик и налег на него грудью, так что острие проткнуло ему сердце. История поразила меня, вот ведь, до сих пор помню, но оглушения, ошеломления не было. Тем более, что она тотчас начала облипать слухами, бытовыми подробностями.

Гаршин был совсем другое.

Не мамин желтолицый доктор, два-три раза заходивший к нам по делу.

Гаршин был — *своё*.

Его фотография стояла за стеклом книжного шкафа.

И Гаршин с фотографии, в каком бы углу комнаты я ни находился, всегда — непостижимо — смотрел на меня.

«Я ничего не знал прекрасней и печальней // Лучистых глаз твоих и бледного чела...» — было произнесено над его могилой.

Фотография старинная, но не та — *первой славы*, где он в солдатской шинели: более поздняя.

Впрочем, Гаршину никак не подходят эти определения — *раннее, позднее*: он прожил тридцать три года.

Возраст Христа.

8.

Лестничный пролет в доме, где мы жили, был узок, как щель почтового ящика. Я не мог понять, как Гаршин сумел броситься в такой пролет (в полет), — другие лестницы в раннюю пору детства мне, кажется, не попадались. Потом, когда видел их, непременно думал о Гаршине.

В доме, где закончилась земная жизнь Гаршина, пролет был прямоугольный: в длинном лестничном марше — восемь ступенек, в коротком — пять.

9.

Наверно, ранняя встреча с Гаршиным укоренила во мне мысль о возможности самоубийства.

Не о самоубийстве, именно — о *возможности* его.

Одлевая испытания и искушения судьбы, особенно в молодости, полный здоровья и сил, я часто думал, утешая и ободряя себя, что имею в запасе простой и быстрый выход из любого положения. Но в глубине души знал, что не воспользуюсь им.

Мысль о *возможности* самоубийства и способность *совершить* его — две вещи не то что несовместные, но более, нежели часто, не совпадающие.

Помнится, я приводил где-то слова Германа Гессе о том, что едва ли не большинство покончивших с собой — случайные самоубийцы: самоубийцы по убеждению редко накладывают на себя руки. Но самоубийца по убеждению всегда создает и вынашивает в себе возможность расстаться с жизнью.

Мысль о возможности самоубийства — это постоянно про запас хранимый глоток свободы, необходимая доля собственного достоинства.

Ш. говорил (где-то я читал об этом), что, куда бы ни попадал, тотчас оглядывался и прикидывал, как он мог бы *здесь* покончить с собой, если *они за ним придут*. Я почему-то думаю, что — не покончил бы, обрек бы себя на мученичество.

В романе Ганса Фаллады герою, приговоренному к гильотине, сумели передать в тюрьму капсулу с мгновенно действующим смертельным ядом. Он держал ее за щекой, но, даже приведенный на место казни, так и не раскусил.

10.

(Тюремный пастор Харальд Пёльхау, в годы нацизма проводивший в последний путь сотни приговоренных к смерти людей, рассказывает в своей книге, что гильотина, как ни ужасно это звучит, тем более выглядит, — самый быстрый, и, по-своему, самый легкий для осужденного способ прекращения здешней жизни.



Казнь с помощью гильотины совершалась прямо в тюрьме и занимала не более трех минут, причем само умерщвление человека, от момента, когда его подводили к станку, до того, как его голова падала в подставленную под нож плетеную корзину, при опытном палаче и умелых помощниках (*обычно из мясников*) требовало лишь 10—13 секунд.

Расстрел для осужденного оказывался куда тяжелее: долгая дорога в *зеленой Минне* (по-русски черном вороне) на окраину города, к стрельбищу (в каждой машине не менее двенадцати человек), нестерпимо долгое, на пороге вечности, ожидание, пока назовут твое имя и поведут убивать, а пока не назвали, напряженный до боли слух ловит звук шагов уводимого к расстрельной стенке другого (сто метров), залп из двенадцати винтовок, крик недобитого двенадцатью пулями, окончательный пистолетный выстрел и снова шаги — фельдфебелей, возвращающихся к машине, чтобы назвать новое — *твое!*? — имя...)

Помнится, об этом я тоже уже писал...

11.

Старик Толстой, когда заходила речь о каких-либо подробностях в его романах, нередко говорил, что — *не помнит*.

До поры я над этим посмеивался: в толстовском «Не помню» чудилось мне веселое лицедейство старого мудреца.

Теперь-то я знаю, что и правда — *не помнил*...

Впрочем, и об этом я, писал, кажется.

Старость...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1.

.....

2.

Но Всеволод Гаршин был из тех натур, для которых самоубийство не только мысль о возможности совершить его и не только способность его совершить, а — *неизбежность*.

3.

Их было четыре брата — Гаршиных.

Всеволод по старшинству — третий.

Один из старших братьев покончил с собой (застрелился) несколькими годами раньше Всеволода. Другой (тоже застрелился) — несколькими годами позже.

Младший, четвертый, брат примеру остальных не последовал. Он был человек рассудительный.

Он был — от другого отца.

4.

Если об одном из старших братьев Всеволода можно сказать, что он застрелился в порыве юношеского отчаяния, то к другому, самому старшему, с этим никак не подступишься. Жил энергично, менял места службы (судебный следователь), менял жен, менял пункты пребывания и вдруг свел счеты с жизнью уже на пятом десятке.

Не исключено, конечно, что оба старших брата были тоже душевно больны, как и Всеволод. Просто болезнь не выказывала себя столь же явно. Тут дело в этой условности рубежа между болезнью и не-болезнью.

Но одно очевидно — неизбежность исхода.

*Грустным солдатам нет смысла в живых оставаться* — не выработанное убеждение: предопределение.

*Резолюция*, с появлением человека на свет начертанная на судьбе.

5.

Корней Чуковский в давней статье о Гаршине вывел красивую формулу: «Гаршин боролся не с миром, а с самим собою... Безумец из рассказа <«Красный цветок»> умер, спасая безумием мир. Но спасая себя от безумия, умер Всеволод Гаршин».

Но болезнь у Гаршина та же, что у его героя.

Неспособность переносить зло, царящее в мире.

Невозможность жить в мире, в котором царит зло.

Гаршин в самом деле устранился надвинувшейся болезни..

Неприятельской атаки на войне не испугался, бросился навстречу вражеской цепи.

Но болезнь страшнее вражеских пуль; он чувствовал: не промахнется.

Гаршин понимал: сумасшедший дом, которому он объявлял ревизию в своих рассказах, ему не переиначить. Чтобы поверить в это, надо было разрешить себе стать героем «Красного цветка», быть убежденным, что сорванный и упрятанный на груди цветок сожжет вместе с твоим сердцем всё мировое зло.

Однажды юношей, во время сильной грозы, он взял железный стержень, прижал один его конец к обнаженной груди, а другой выставил из окна к небу. Он хотел спасти от молнии всех обитателей дома.

Может быть, город.

Мир.

Теперь он подчинился неизбежности. Он уходил из сумасшедшего дома, в котором не мог далее существовать и который не умел переустроить.

6.

«Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь была по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно притом по больному, ...удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя...»

Это — Глеб Успенский.

Из статьи «Смерть В. М. Гаршина».

Добрый друг, Глеб Иванович не бросился в лестничный пролет (может быть, не успел), не застрелился, не перерезал себе горло, как его двоюродный брат, Успенский Николай, тоже писатель, но судьба его была изначально помечена той же *резолюцией*.

Мысль, сердце, совесть мучительно и неотвратимо звали его объявить ревизию *сему сумасшедшему дому*, — жизнь завершилась безысходной вечностью в лечебнице для душевнобольных.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1.

Так уж повелось считать: *бросился в пролет лестницы*. Так уж повелось, в памяти зацепилось, в воображении: мгновенное, решительное — бросок, пролет, полет.

То, что повелось, потом обрастало воспоминаниями, чуть ли не свидетельствами. Хотя в ту минуту на лестнице, кроме самого Гаршина, никого не было.

Один мемуарист сообщает, будто Гаршин еще загодя показывал ему на пролет лестницы, спрашивал доверительно: «Неужели вас не подмывает броситься туда?» (Какая пошлость!).

2.

...За неделю-другую до гибели Гаршин ходил по знакомым с книжкой журнала, в которой была напечатана чеховская «Степь», радовался, что в России появился новый замечательный писатель: «У меня точно нарыв прорвался, и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал...»

Эта особенная радость Гаршина, которой он жаждал со всеми поделиться, с которой хотел достучаться до сердца каждого собрата по перу, сама сделалась своего рода литературным событием. Писатели и читатели пересказывали мнение Гаршина один другому, оно оборачивалось аннотацией к разговорам о «Степи».

Чехов это знал и ценил.

«Гаршин в последние дни своей жизни много занимался моей особой, чего я забыть не могу»...

В память о Гаршине он написал рассказ — «Припадок» («воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел»).

В рассказе энергично и преднамеренно отозвались и творчество Гаршина, и сама личность его.

Герой рассказа (сам Чехов его так обозначил) — *молодой человек гаршинской закваски*.

*Гаршинская закваска* (опять же, по Чехову) — это своего рода талант.

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще».

Герой «Припадка» несет в себе чужую боль и готов покончить с собой, чтобы от нее избавиться.

Потому что в этом несправедливо устроенном мире боль неотвратима.

Ему хочется кричать людям: «Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в Бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите?» Но он знает, что его не услышат.

Ревизовать сумасшедший дом ему не под силу. И не под силу сжечь себя в безумной попытке.

Его ведут к врачу, и он остается в этом несправедливом мире с рецептом на бромистый калий и морфий в руке.

3.

Гаршин рассказывал: во время болезни в нем возникает и начинает жить как бы еще один — *другой* — человек. Этот *другой* говорит, думает, совершает поступки. Мысли, слова, поступки этого *другого* огорчают его, подчас ужасают,

приводят в отчаяние, но ничего он с этим *другим* поделать не в силах, потому что этот *другой* — тоже он сам, но переступивший какой-то привычный рубеж в отношениях с собой и с миром.

Безумец «Красного цветка», пробудившись среди ночи в залитой лунным светом больничной палате, вдруг осознает этот преодоленный рубеж: «Где я? Что со мной? — пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом».

Но наутро он проснулся, чтобы продолжать ревизию сему сумасшедшему дому, готовый один вступить в борьбу со всем злом мира и, жертвуя собой, победить в борьбе.

Всякий новый день начинался впечатлениями, и впечатления убивали его, обрушивались на него ударами, и непременно по больным, незаживающим местам. Это — Гаршин о своем герое и Глеб Иванович Успенский — о самом Гаршине в поминальной статье о нем.

4.

Последняя квартира Гаршина была в доме №5 по Поварскому переулку.

На третьем этаже, квартира №16.

С Владимирского проспекта, сокращая путь, шли обычно соседним Дмитровским переулком и проходным двором. Многим оттого запомнилось, что Гаршин жил по Дмитровскому.

В доме, как во многих петербургских домах, было две лестницы — парадная и черная, кухонная.

5.

В девятом часу утра 19 марта по черной лестнице к Гаршиным поднялся дворник: жена Гаршина, Надежда Михайловна, послала за ним — поговорить о хозяйственных делах перед их с Всеволодом Михайловичем отъездом на Кавказ.

Отъезд был назначен на завтрашний день — 20 марта.

На Кавказ решили податься, отступая от надвинувшейся совсем близко болезни.

Прошлой весной, опять-таки в марте, болезнь тоже начала решительное наступление, но один из друзей увез Гаршина путешествовать по Крыму, и — обошлось.

Впрочем, теперь положение смотрелось тяжелее прошлогоднего: болезнь не то что наваливалась — уже начала осаду. Предстояло не отступать, а — прорываться. Вырываться.

Надежда Михайловна была врач и понимала это.

6.

Накануне отъезда побывали у опытного психиатра Александра Яковлевича Фрея. Он не один год лечил Гаршина, считался даже его приятелем. Встречались у общих знакомых, на заседаниях кружков и обществ, на публичных чтениях. Александр Яковлевич живо интересовался искусством, сам был не прочь высказать свое суждение о нашумевшем романе, о новой картине, оценивая их со специальной, психиатрической точки зрения.

Надежда Михайловна спрашивала, не отложить ли отъезд, не поддержать ли Гаршина некоторое время в клинике. Частная клиника Фрея находилась прямо

напротив окон его квартиры — на Пятой линии Васильевского острова. Фрей клинику отсоветовал, торопил с отъездом на Кавказ, куда и так решено было ехать, да страшно сделалось.

(Позже, беседуя с Надеждой Михайловной, помощница Фрея проговорила: опытный врач остро провидел *неизбежное*, оттого и в собственную клинику счел за благо не брать.)

7.

Ехать предполагали в Кисловодск.

Художник Ярошенко, с которым Гаршин был дружен, пригласил их к себе на дачу.

Может быть, доктор Фрей, желая того или нет, вовсе не был неправ (или, скажем осторожнее, был не совсем неправ), стараясь поскорее вытолкать Гаршина на Кавказ.

Ярошенко — человек совсем иного душевного склада, чем Гаршин, — сильный, волевой, уверенный в себе (он был артиллерийский офицер, дослужился до полковника), но приобретенная кавказская усадьба и в его жизни, в мироощущении его многое переменяла. Это тотчас понимаешь, сопоставляя петербургские работы художника с кавказскими.

Промозглость, серость, сырость неба, воздуха, каменных стен, мостовых, нездоровая бледность лиц, блеклость или траурная чернота одежд — и радостное, торжественное сияние синего неба, зелени, озаренных солнцем снеговых вершин, серо-сиреневые обломы скал, красноватая желтизна песчаника, краски сильные, яркие, чистые, смелые сочетания цвета. прозрачный воздух, неоглядный простор — высота, ширь...

Когда смотришь с седловины хребта, как восходит солнце, когда обливается золотом снежный купол Эльбруса, когда внизу, в расщелине, синие от ночи деревья начинают зеленеть под касанием солнечных лучей, когда бежавшее по небу легкое перистое облачко, порозовев, вдруг неподвижно замирает в глубокой сверкающей голубизне, — в такие минуты чувствуешь свою причастность к вечному, точнее и спокойнее осознаешь свое место в мироздании, постигаешь истинные ценности и освобождаешься от призраков.

Может быть, такие минуты и есть самое целительное средство от душевного недуга?..

8.

Дружба Гаршина с художником началась сближением творческим.

Ярошенко *проснулся знаменитым* несколькими месяцами позже Гаршина, весной 1878 года, когда на Передвижной выставке появилась его картина «Кочегар».

Этот холст был одним из первых в числе «портретов сословий» (по тогдашнему определению), которые доставили Николаю Александровичу Ярошенко громкую известность, — «Кочегар», «Заклученный», «Студент», «Курсистка».

Художник (писала критика) поставил себе задачу создать «портретную галерею нашего современного общества». После, как бы итога свои творческие поиски, Ярошенко — в самой прославленной своей картине «Всюду жизнь» — собрал представителей разных сословий в одном общем тюремном вагоне.

Он говорил, что запечатлевать на своих холстах то, «что дает жизнь в настоящее время» и что «в будущем запишется в историю».

9.

«Кочегар» — первый заводской рабочий в русской живописи. До этого *народ* в русском искусстве (как и в представлении большинства интеллигенции) — мужик.

Ярошенко занимался вооружением армии, работал на военных заводах. С заводскими людьми он встречался постоянно, знал их близко.

Кочегар на его холсте стоит возле огненной печи и сам будто выкован из раскаленного металла. У него могучие рычаги рук, исполинский «грудной ящик» (слово Стасова), втянутая в плечи голова, внимательный, тревожный взгляд.

Многие зрители находили его *безобразным*. Это определение шелестело вокруг картины. Но Кочегар (и художник сумел передать это) не безобразен, а — *обезображен*: громадностью труда, ужасом быта. В могучем и страшном облике его, в напряженном, тревожном его взгляде манящее и пугающее сплавлены воедино. В будущем это *запишется в историю*, а пока именитый критик Прахов восклицает растерянно: «Вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу: всем своим преимуществом ты пользуешься в долг».

10.

Годом позже явления «Кочегара» Гаршин написал рассказ «Художники».

Герой рассказа, художник Рябинин, задумал картину о *Глухаре*.

Глухарями называли рабочих, занятых на клепке паровых котлов.

« — Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом...

— ...Ведь это всё равно, что по груди бить!..»

Снова то же гаршинское — грудь подставлять.

11.

Картину, которую написал гаршинский художник, написать, пожалуй, технически невозможно.

Темное нутро котла, там, в темноте, корчащийся под ударами молота человек, прижимающий грудью заклепку, страшный грохот, от которого рабочие быстро глохли...

Но Гаршин знал толк в живописи, писал о художественных выставках, дружил с художниками. Его герой, Рябинин, свою картину написал. И мастерство писателя Гаршина в том, что читатели эту картину — видят.

12.

Ярошенковского «Кочегара» нередко, вопреки хронологии, числили иллюстрацией к рассказу Гаршина. Но нередко и наоборот: рассказ Гаршина представлялся нащепанным ярошенковским «Кочегаром». Образ пролетария в искусстве был еще в новинку — сопоставление напрашивалось, тем более что оба мастера, писатель и живописец, в тогдашней художественной жизни выступали как бы рядом.

Но ярошенковский Кочегар крепко стоит на ногах, в будущем предполагает быть записанным в историю, взыскать долги. Гаршинский Глухарь подставляет грудь под удары, взывает к совести.

«Я вызвал тебя... из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну... Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

В горячечном бреде болезни художник Рябинин в страшной толпе вместе со всеми наносит удары корчащемуся на земле человеку; но он же — и тот человек, которому наносят удары молотом.

13.

Репин сделал рисунок к рассказу «Художники». У Рябинина на рисунке — лицо Гаршина.

14.

После картины о Глухаре Рябинин решил оставить искусство и ехать учителем в деревню: *«Ну не сумасшедший ли это человек!»*

Вскоре после «Художников» ехать в деревню, *в народ*, решил было и Гаршин. Даже деревенские сапоги купил.

Есть сведения, что своими планами он поделился с Толстым во время ночного их разговора. Толстой поддержал его, конечно.

Но болезнь захватила Гаршина: вместо деревни он оказался на Сабуровой даче (так именовали харьковскую психиатрическую больницу).

Толстой не хотел верить в безумие Гаршина, собирался навестить его в больнице.

(Не навестил.)

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1.

Примерно в половине девятого утра (19 марта) Гаршин вышел из квартиры на лестницу.

Надежда Михайловна, жена, еще вела в кухне переговоры с дворником и прислугой и не заметила его ухода.

2.

Бунин вспоминает, что среди тяжких видений, посещавших Чехова, была лестница в доме Гаршина.

«Два раза был я у Гаршина и оба раза не застал. Видел только лестницу...», — писал Чехов через неделю после смерти Всеволода Михайловича.

И три дня спустя: «А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...»

3.

Лестница, как говорилось, имела широкий пролет (восемь ступеней на пять).

В пролете стояла высокая печь, обогревавшая подъезд. Ее верхняя часть доставала почти до второго этажа.

Стены в подъезде были выкрашены в темно-серый тюремный цвет.

«Окно в крыше над пятым этажом тускло освещало лестницу, — свидетельствовал современник. — Окно было большое, из двух приподнятых под углом створ, каждая вроде парниковой крышки».

4.

Подробность выразительная, почти мистическая.

Прекрасная пальма высокой вершиной  
В стеклянную крышу стучит...

Стихи — студента Горного института Всеволода Гаршина. Они написаны много раньше знаменитой сказки «Attalea princeps». (Впрочем, повторюсь, какие у Гаршина *много раньше?* Вся жизнь творческая, все «томов премногих тяжелей» уложились в неполное десятилетие.)

Образ пальмы, которая не хотела, не могла жить за решетками оранжереи, Гаршина не оставлял.

Иные *передовые* деятели эпохи полагали, что конец сказки «губит всякую энергию», но люди определенного душевного склада долго хранили ее в памяти, передавали следующим поколениям.

Папа еще до того, как прочитал мне «Attalea princeps», пересказывал мне, маленькому, гаршинскую историю именно как *сказку*.

Сказка заканчивается в самом деле печально, для *передовых* деятелей — неприемлемо.

Под напором растущей ввысь, набиравшей силу пальмы лопнули железные полосы решетки, вдребезги разлетелось толстое стекло потолка.

«Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. "Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?"

И пальма поняла, что для нее всё кончено. Она застывала».

5.

Неизбежность...

6.

...Спустя несколько минут Надежда Михайловна закончила дела в кухне.

«Меня поразила приоткрытая дверь на нашу парадную лестницу, куда я и вышла. Всев. Мих., вероятно, услышал шум стукнувшей двери и понял, что я его разыскиваю. Он крикнул мне снизу...: "Надя, ты не бойся, я жив, только сломал себе ногу".

Когда я сбегала к нему, то нашла его вовсе не на печке, а на площадке лестницы. До низу был еще целый марш...»

Гаршин рассказал Надежде Михайловне, «что левая нога его попала между перилами и печкой, перегнулась и сломалась, когда он сам упал на площадку...»

7.

Снова как на войне: подставлял грудь, но ранен в ногу.

Но теперь это было не начало, это был — конец.

8.

О других увечьях, полученных при падении, в воспоминаниях ничего не говорится. (Хотя, возможно, имелись, внутренние, не распознанные врачами.) Через несколько часов после падения, к вечеру, Гаршин впал в беспамятство и оставался в таком положении еще пять дней. Причиной смерти врачи назвали последствия перелома ноги.

9.

Пока он был в сознании, он рассказывал, «как боролся с собой, чтобы не допустить себя до падения».



Сказано: *ад — это другой* (Сартр).

Ад — это и *другой* в себе.

Когда Христос преодолевал в пустыне искушения (а Он преодолевал их, *боролся* с ними, иначе, без борьбы, без одоления, это не были бы искушения, не был бы дьявол, не было бы пустыни), когда он побеждал искушения, — он побеждал *другого* и в своем человеческом.

«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз... Иисус сказал ему в ответ: сказано: "не искушай Господа Бога твоего"».

10.

В свое время, задумавшись о картине Крамского «Христос в пустыне», Гаршин отправил художнику письмо.

Не подписанное.

Имя адресата сильно влияет на характер послания. А Гаршин хотел получить от Крамского ответ, не ему, писателю Гаршину, адресованный, но ответ — *вообще*. Он хотел, чтобы Крамской ответил как бы самому себе.

Гаршин спрашивал художника: изображал ли он Христа, борящегося с искушениями, или уже одолевшего их и «поглощенного своею наступающею деятельностью».

Крамской не ответил на прямой вопрос Гаршина, но сказал, может быть, самое существенное: «Есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога рубль или не уступать ни шагу злу...»

Картина называется «Христос в пустыне», но это картина про жизнь *каждого* человека.

Заканчивает Крамской вовсе решительно (и с величайшей искренностью): «Итак, это не Христос. То есть я не знаю, *кто* это».

То есть это не *кто-то*: это каждый человек, который вослед Христу борется с искушениями, с *другим* (адам) в себе самом, решает, пойти ли ему направо или налево...

11.

...В больницу Гаршина перевезли уже вечером. Он был в сознании.

«В часовне, мимо которой его пронесли, совершалась, вероятно, всенощная, так как была суббота, — вспоминает Надежда Михайловна. — Всев. Мих. перекрестился... Всев. Мих. всегда носил крест на шее и высоко чтит Христа».

12.

...Гаршин вышел из квартиры на лестницу и начал (видимо, торопливо) спускаться вниз.

Он боролся с искушением, с другим, с неизбежностью, — убегал от бездны.

После падения, пока был в сознании, он рассказал, что «шел, как во сне, и спустился этажом ниже».

То есть — с третьего на второй.

Он почти спасся на этот раз.

Бросаться было уже некуда, или — почти некуда.

Верх печки, обогревавшей подъезд, доходил, как помним, почти до второго этажа.

Надежда Михайловна свидетельствует, что от того места, где нашла Всеволода Михайловича, до низу был еще целый марш. Причем, что существенно, лежал он «*вовсе* не на печке, а на площадке лестницы».

Это «*вовсе*» придает описанию какой-то определенный смысл.

Как всё происходило, теперь понять не просто. Наиболее подробно сообщил об этом со слов Гаршина один из подоспевших к нему вскоре после падения ближайших его друзей: «Тут меня непреодолимо потянуло через перила. Я перелез их, повис, держась руками за железные прутья, и хотел уже сброситься, как мне стало совершенно ясно, что я делаю не то, что следует. Но силы меня оставили, и я *грохнулся* вниз». (Здесь «*грохнулся*» опять же очень выразительное слово, без сомнения — *гаршинское*: со стороны о только что умершем друге так не скажешь.) И следом: «Все теперь скажут, что я покушался на самоубийство. Какой стыд!..»

Похоже, разжав руки, он упал как-то наискосок (или: хотел так упасть?)... нога попала между перилами и печкой.

Разбиться насмерть было, кажется, невозможно.

А он — разбился.

13.

На этот раз он почти победил *другого*, почти ушел на этот раз от неизбежного. Он не убил себя. Просто ему и в самом деле не было смысла в живых оставаться.

Он мог объявить ревизию сему сумасшедшему дому, но, сжигая себя, уничтожить царящее в мире зло было ему не под силу.

14.

Когда Надежда Михайловна сбежала к нему на площадку лестницы, куда он упал, он сразу начал просить у нее прощения, на боль не жаловался. «Он мучился нравственно: всё винил себя в происшедшем и раскаивался. Меня он жалел больше, чем себя», — вспоминала Надежда Михайловна. Кто-то спросил его, больно ли ему. Гаршин ответил: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь» — и указал на сердце.

15.

Двадцать лет спустя Лев Толстой, всю жизнь высоко ценивший Гаршина, пересказывал с чьих-то слов историю его смерти: «...как он бросился с лестницы, весь разбился и, когда прибежала жена (она была врач), сказал ей: «Ничего».

Здесь Лев Николаевич задержался, прибавил одобрительно: «Это так естественно: о своей боли не думает, а ее испуг видит».

16.

Хоронили Гаршина на Волковом кладбище.

На Литераторских мостках.

Так именуется этот участок налево от входа, где обрели последнее свое прибежище многие труженики российской словесности.

Еще гимназистом Гаршин таким же весенним днем забрел сюда однажды, по деревянным мосткам, положенным на черную, набравшуюся талого снега землю, прошел к могилам Белинского, Добролюбова и Писарева (напротив первых двух: у тех памятники черные, тяжелые, у Писарева — маленький белый крест) — как

там позже ни судили-рядили, это были учителя его поколения; в тот давний гимназический день он осознал, что как малороссийские степи — физическая его родина, так Петербург — родина духовная, и от этого родства петербургского никогда не отступал.

В начале 1880-х, после долгой болезни возвратившись в Петербург, он снова пришел сюда, на эти Мостки, с грустно сжавшимся сердцем обошел подзаброшенные могилы, вспомнил прочитанное недавно описание вестминстерского «Уголка поэтов», вздохнул (в очерке, жалко, не оконченном): «Мы не заботимся о наших великих мертвых» — и приписал, как бы само собой: «Мы не заботимся о них и при жизни».

В последний раз он был здесь самую малость больше, чем за год до смерти, в феврале 1887-го: хоронили поэта Надсона.

С Надсоном они дружили.

Гаршин не любил погребальных речей: произносят их часто люди ушедшему далекие, иногда и вовсе чуждые, в речах обычно много фальши, желания себя показать, — у близких в такой день горе утраты накладывает печать на уста. Вот и над свежей могилой Надсона слова произносились потертые, как рисунок на ходячей монете. Опустили в яму небольшой прямоугольный ящик, обитый белой с серебряными нитями тканью, застучали о крышку мерзлые комья земли. Вспомнился рассказ Надсона: после окончания военного училища он селился по наемным квартирам подешевле и себя именовал «жильцом маленькой комнаты». Гаршин стоял в стороне, держал венок, присланный поэту от бывших сослуживцев по 148-му Каспийскому полку (у ворот кладбища кто-то из распорядителей сунул в руки) — черные атласные ленты и фарфоровые белые розы. Когда смолкли речи, начал было читать стихи Полонского, написанные на кончину молодого поэта: «Он вышел в сумерки. Прощальный // Луч солнца в тучах догорал...» — запнулся, сбился. Надо же, обычно стихи с одного раза запоминал — и навсегда. Укладывая венок, громко попросил: «Не рвите цветы!» (такая мода пошла — обдирать на память с венков искусственные цветы и листья) — где там, не остановишь...

17.

Гаршина хоронили 26 марта 1888 года.

Церковь на Волковом кладбище была переполнена.

Много молодежи, студентов.

От больницы на Бронницкой улице и до самого Волкова, хоть и двигалась впереди процессии, как положено, «печальная колесница», гроб несли на руках.

В церкви возжены были сотни свечей. В их свете сияла золотая парча покрывала, жарко пылали алые розы и маки.

Как-то само собой — иначе просто не получалось — автору «Красного цветка» венки и букеты заказывали из красных цветов.

Пальмовые ветви тоже приносили («Пробито стекло. изогнулось железо, // И путь на свободу открыт...»)

Лицо Гаршина в последние мгновения, пока доступно было созерцанию, с венцом на челе, поражало особенным сходством с ликом библейского пророка, апостола, мученика.

Сравнения эти, при жизни прилепившиеся к Гаршину, после его смерти повторились почти непременно.

С Христом его тоже сравнивали.

...Как будто для тебя земная жизнь была  
Тоской по родине, недостижимо дальней...

Библейское лицо умершего Гаршина запечатлел Репин.

18.

Пока шло прощание, художник, стоя на правом клиросе, делал последний портрет дорогого друга.

Репин вспоминал, что с первого же взгляда на Гаршина захотел написать его портрет.

Но портрет был написан несколькими годами позже их первой встречи.

Гаршин сидит у письменного стола, заваленного рукописями. Фигура взята сбоку, но лицо повернуто к зрителям. Поразительный взгляд прекрасных глаз — поистине «изумительной искренности и великой любви сосуд живой». Репин писал: «Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто заволакивались таинственной слезою».

Окончив портрет, Репин написал П. М. Третьякову о Гаршине: «Как кристалл чистая душа!»

У картин, как и у книг, свои судьбы.

Волею непростой судьбы репинский портрет Гаршина оказался за океаном, в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее.

Неделю назад мои друзья, Инна и Слава, проходя по Музею, сфотографировали портрет и — волшебством сегодняшней техники — через секунду он появился на экране моего компьютера.

Репродукции с этого портрета есть в каталогах и альбомах, да и в моей первой — ЖЗЛовской — книге о Гаршине он напечатан на переплете, но, право же, неожиданное явление портрета вдруг радостно прервало привычный будничные поток времени, прозвучало дорогим сердцу приветом от любимого Гаршина, от Репина, который тоже не однажды обживался на страницах моих книг, от милых сердцу американских друзей. Приветом моего сегодня и прошлого моего.

19.

Прежде чем взяться за портрет, Репин написал Гаршина на небольшом холсте, почти в профиль — этюд для головы царевича на картине «Иван Грозный и сын его Иван».

Картина произвела на Гаршина огромное впечатление.

Он писал другу:

«Как мне жалко, что тебя здесь нет!.. В каком бы восторге был ты теперь, увидев «Ивана Грозного» Репина. Да, такой картины у нас еще не было, ни у Репина, ни у кого другого — и я желал бы осмотреть все европейские галереи для того только, чтобы сказать то же и про Европу... Представь себе Грозного, с которого соскочил царь, соскочил Грозный, тиран, владыка, — ничего этого нет, перед тобой только выбитый из седла зверь, который под влиянием страшного удара в минуту стал человеком. Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин».

20.

Быстрым карандашом набрасывал Репин последний портрет Гаршина.

Яркой акварелью подчеркнуто выделил на рисунке красные цветы.

Очень точно замечено (Н. А. Любович), что подпись Репина поставлена не там, где обычно ставится, — в углу работы, а — посредине листа. Она как бы вплетена в красный венчик, поставленный у изголовья.

Не знак авторства — прощальное подношение.

.....

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1.

Так получилось, что Пасху 1974 года я отмечал в Ленинграде.

Я вряд ли бы вспомнил, что год был никакой иной, а именно 1974-й, если бы как раз накануне праздника не умер скульптор Вучетич.

В тот день, о котором я собираюсь рассказать, утром Светлого Воскресения, я подошел к газетному стенду (помню — где: на Лиговке) — и увидел некролог.

По тогдашней табели о рангах Вучетич в «армии искусств» был не то что генералом — маршалом. «Перекуем мечи на орала»... И монумент Сталина на Волго-Донском канале, огромностью заткнувший за пояс Колосса Родосского... И мемориал на Мамаевом кургане...

Великий скульптор советской эпохи был высокомерен, деспотичен, груб, любовью сподвижников по искусству не пользовался..

Число острословов в отечестве нашем не скудеет, особенно в годы запрета на острословие. Какой-то из них проводил ваятеля в последний путь непечальной эпитафией: «На Пасху нынче выпал номер: // Христос воскрес, Вучетич помер»...

Так само собой запомнилось, что время действия — год 1974-й.

### 2.

Место действия, как сказано, — Ленинград.

Можно держать пари с самым изощренным спорщиком, что во всей нашей 200-миллионной стране не было в ту пору и одного человека, который предполагал, что это, казалось, навеки прилепленное к городу название не продержится отныне и двух десятилетий.

Гостиница, где я (по знакомству, конечно) поселился, была тоже — «Ленинградская».

В прошлом она именовалась — «Англетер».

Едва ли не на второй день моего внедрения в гостиницу коридорная Елена Николаевна показала мне дверь номера, в котором покончил с собой Сергей Есенин. (Теперь, впрочем, в справочниках стали писать «найден мертвым»: гипотеза убийства оказалась для многих весьма соблазнительной.) Елена Николаевна (а не Людмилой ли ее звали?) поведала весело, что время от времени неизвестные озорники звонят, непременно среди ночи, по телефону в номер и сообщают, что в комнате живет дух поэта, или просто говорят от его имени; многих постояльцев это сильно пугает. «Ну что ж, — сказал я, — теперь хоть понятно, чем заняться в случае бессонницы...» Елена Николаевна засмеялась и погрозила мне пальцем: «Только попробуйте!»

В ту пору считалось, что все коридорные в гостиницах — секретные сотрудники известного учреждения, которым поручено всеми возможными способами наблюдать за каждым постояльцем. Может быть (даже — наверно), так оно и

было, но мы часто уставали подозревать и быть осторожными, так же, как в коридорных особость их природной личности одолевала приверженность секретным поручениям.

Елена Николаевна была немолода (для меня тогдашнего — тем более), за пятьдесят, сложена хорошо и крепко, невысокая, плотная, с лицом не то что бы красивым, но правильным, ясным (такими рисуют учительниц на картинках в школьных букварях). Профессор Ю. О., свой срок отсидевший, однажды сказал задумчиво молодому человеку с выразительным еврейским профилем: «Вас секретным агентом не сделаешь: вы заметны в толпе». Елена Николаевна в толпе была бы незаметна, но сама по себе, вне толпы, смотрелась вполне штучной, привлекательной женщиной.

Меня, при моей постоянной встревоженности, манило в ней доброе, светлое, слегка даже усыпляющее спокойствие, которое она излучала, — такие женщины на меня всегда сильно действовали.

3.

Мой ленинградский приятель Гор предложил пойти вечером в церковь на Пасхальную службу.

В Ленинграде был известный писатель Геннадий Гор, но я пишу не о нем.

Мой приятель Гор (вообще-то Егор, но в своем кругу так уж повелось — Гор) литературой не баловался: был он артистом, чтецом, и числился, кажется, при филармонии. Не помню, чтобы он участвовал в каких-либо заметных концертах, — чаще всего гоняли его по школам, где он на вечерах и пионерских сборах развлекал слушателей юмористическими рассказами для детей и юношества, вроде «Гадюки» Юрия Сотника. Особенно востребован оказывался Гор в зимние каникулы, время новогодних елок, потому что слыл умелым Дедом Морозом, — у него были какие-то свои особенные номера, например трюк с леденцовыми конфетами в виде сосулек, которые он доставал по знакомству на какой-то базе,

4.

Прежде я не замечал в Горе ни малейших признаков воцерковленности. Разве что иногда он показывал уморительно смешные сценки, изображая, как, будучи студентом, сопровождал в церковь знаменитую старую актрису, в театральном училище очень ему покровительствовавшую. Но когда на этот раз он заговорил о Пасхальной службе, было в его темно-серых глазах нечто такое, что не позволяло усомниться в искренности и силе владевшего им чувства.

5.

«И зачем в такую погоду? — как-то даже по-свойски посетовала Елена Николаевна, когда я сдавал ей ключ, отправляясь на свидание с Гором. — На улице совсем промозгло. Всё равно напрасно проходите. Вон в буфете и тепло, и светло. Коньячок хороший, и даже *кекс Весенний* завезли».

*Кексом Весенним* официально именовались пасхальные куличи, выпускаемые с недавних пор промышленным способом в целях конкуренции с домашними, которые население продолжало во множестве выпекать несмотря на антирелигиозную пропаганду.

«Господи! — подумал я. — Неужели она и в самом деле знает всё, что со мной происходит, и даже то, что произойдет, о чем я сам еще не ведаю?..»

6.

Возле церкви, куда меня привел Гор, стояла толпа.

Здание было окружено милицией и цепью дружинников с голубыми повязками на рукаве, будто там, внутри, шла не пасхальная служба, а заседание Политбюро.

Действующих храмов в городе оставалось всё меньше.

«В Челябинске, в Пензе, я туда с концертными бригадами ездил, уже и теперь по одной действующей церкви. И то на кладбищах, — сказал Гор. — Через двадцать лет наши внуки будут про церковную службу в старинных справочниках читать».

(Через двадцать лет наш Гор, уже священник, отец Георгий, будет настоятелем храма в одном из приволжских городов. «Благоговею и безмолвствую перед святою твоею волею и непостижимыми для меня твоими судьбами».)

Двери храма были открыты. Воздух в храме был напоитан желтым светом свечей и дыханием молящихся. Оттуда доносилось пение, заглушаемое разговорами в толпе.

На улице всем распоряжался короткий широкоплечий человек в плоской кепке, помеченный голубой повязкой дружинника. Широко расставив короткие ноги, он стоял на паперти, как капитан на своем мостике, и остро всматривался в толпу. Время от времени он высматривал какую-нибудь старушку, зычно командовал: «Мамаша, пройдите в храм!» Дружинники расступались, образуя узкий проход, избранная старушка, поспешая, пока начальник не передумал, устремлялась к церковным дверям.

Вечер был сырой, знобкий. Питерская пронзительная сырость заползала за воротник, в рукава.

«До полуночи, наверно, не достую», — признался Гор. Его заметно потряхивало. На нем было его несменяемое, на все сезоны серое пальтецо с пояском. (Врачи находили у него непорядки в легких, посылали в Крым. Денег на путевку не было, он нанимался в санатории вахтером при шлагбауме.)

«Может быть, и правда, — в гостиницу, — вспомнил я Елену Николаевну. — В буфете коньяк хороший, *кекс Весенний...*»

«Лучше пойдем в Клуб... — Гор назвал какое-то имя. — Сегодня для отвлечения народа от опиума по клубам фильмы показывают, каких в кино век не увидишь...»

7.

Мы доехали до Васильевского и пошли по какой-то Линии.

Я сказал: «Вот мы идем, как Лука и Клеопа, и полагаем, что Он умер, и по недостатку веры забыли, что непременно воскреснет. А Он — воскрес и идет рядом, но глаза у нас удержаны, и мы не узнаём его. И Он говорит нам: "О бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему..."»

История о пути в Эммаус — одна из моих любимых в Книге.

Мы говорили о физической осязаемости евангельского текста. В каждом слове открывается картина мира, в котором ты живешь и действуешь, который ощущаешь каждой клеточкой тела.

Об этом хорошо сказано у Чехова в «Студенте».

Холодным темным вечером в Страстную Пятницу студент духовной академии, сын сельского дьячка, набрел в поле на костер, который разожгли две крестьян-

ки, мать и дочь, и вспоминает, грея руки над огнем, историю отречения апостола Петра.

«Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!»

Студент пересказывал евангельскую историю, и ему казалось, что он видит всю цепь, которая связывает настоящее и прошлое: дотронулся до одного конца и дрогнул другой. Он же, рассказывая, чувствовал себя и на том и на другом ее конце.

Вечность — это не остановка движения времени, а единое бесконечное пространство его движения.

«Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра».

...Годы спустя после той ночи, о которой пишу, уже в конце 1980-х, но такой же мартовской Пасхальной ночью, совсем с другим спутником я шел по Иерусалиму, и было тоже холодно (для нас, пришлых с севера, неожиданно холодно), — мы тоже вспомнили Луку и Клеопу и апостолов, физически ощущая, как смятенно брели они той длинной страшной ночью, кутаясь в свои суконные плаши.

8.

В клубе, куда привел меня Гор, показывали фильм Жана Кокто «Орфей».

9.

Фильм о том, что такой же неразрывной цепью (тронешь один конец — дрогнет другой) связан наш временный мир и иной, *Великое Может Быть* (по слову Рабле), которого мы же становимся, или являемся, обитателями.

В одном давнем своем повествовании я рассказывал о страшном, навсегда ворвавшемся в память впечатлении: вызванный к дорогому покойнику бальзаматор, отрекомедовавшийся «заморозка», надевает красные скользкие резиновые перчатки.

В фильме такие перчатки — неременный атрибут Смерти (Мария Казарес).

10.

Я возвратился в гостиницу далеко за полночь.

«Совсем замерз? — посочувствовала Елена Николаевна. — Полгорода, наверно, исходил?»

Она положительно всё обо мне знала.

«Идите, переодевайтесь скорее. Я вам тут коньячку припасла».

Через минуту-другую она постучала в дверь номера. В руке у нее была тарелка, на тарелке — стопка коньяка, несколько ломтей кулича и непредусмотренное красное яичко.

«Разговляйтесь».

«А вы?»

«Мне нельзя. Я на посту».

Я быстро залпом выпил коньяк.

«Воскрес?» — рассмеялась Елена Николаевна.

11.

Светлое Воскресение распахнулось поистине — светлым.



Утро было солнечным, ярким, по-весеннему молодым.  
Прямоугольник окна наполнило голубое, будто промытое небо.  
От мглы вчерашней и следа не осталось

И тотчас (без обдумывания, без решения) само собой понятно стало — на Волково.

.....  
На площади, перед входом в гостиницу (такого и не придумаешь, очень уж неожиданно!) — женщина с зеленым эмалированным ведром продавала красные гвоздики.

.....  
У ворот кладбища толпился народ.  
Так же, как накануне у церкви, только людей поменьше.  
Люди держали в руках корзины, клеенчатые сумки с провизией для поминок, узелки — в косынках увязанные куличи.

Ворота были заперты.  
На железной решетке — лист картона с наспех написанным объявлением:  
*«Кладбище закрыто на просушку».*

Звучало загадочно, даже мистически.  
В воротах, по ту сторону решетки, прохаживался милиционер.  
Я протолкался вплотную к решетке, окликнул его.  
Он приблизился.  
«Вот, — я показал ему гвоздики. — Специально из Москвы приехал».

«А удостоверение имеется?»  
У меня в кармане был билет писательского союза, но я протянул ему то ли пятерку, то ли трешницу. Он взял.

«Родные, что ли?»

«Близкие».

«Фамилия какая?»

«Гаршин».

«Правильно. Есть такие».

Он слегка приоткрыл ворота и тотчас с лязгом снова захлопнул.. Я едва успел проскользнуть в образовавшуюся щель.

«Цветы — другое дело, — громко сказал милиционер, явно рассчитывая, что стоявшие неподалеку его услышат. — А то куличи, понимаешь, яйца лупят, у кого портвешок, а у кого и белое. Воспрещено...»

.....  
Над кладбищем была еще опрокинута прозрачная пустота. Но разогретый весенним солнцем воздух уже густел в кронах старых деревьев с окаменевшей, как гранит памятников, чернеющей наростами корой, на концах черных заскорузлых сучьев светлели молодые побеги.

«От смоквницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях».

Красные цветы на черном камне пламенели маленьким жарким факелом.

**ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК:  
ПИСЬМО Н. И. ЯЗВИЦКОГО Г. Р. ДЕРЖАВИНУ**

В изучении забытых биографий судьбы русской культуры раскрываются порой в не менее захватывающей и драматической форме, чем в высших творческих достижениях гениев.

*Ю. М. Лотман*

**В** ноябре 1813 года Гаврила Романович Державин получает письмо от Николая Ивановича Язвицкого – одного из знакомцев и сотрудников поэта по Беседе любителей русского слова. Письмо, по господствующей в нём интонации, нервное и даже, как выразились бы в XIX веке, горячее. Сам Язвицкий вскоре после этого, находясь в состоянии душевного расстройства, совершает яркую, но при этом показательную нелепую антимонархическую выходку и оказывается в Обуховской больнице на положении политического заключённого и душевнобольного. И судьба Язвицкого, и его письмо Державину представляют собой один из тех красноречивых эпизодов истории литературы, которые позволяют воспринимать её как связный сюжет с умолчаниями, параллелями и предвосхищениями.

Вот это письмо (текст письма и других документов в первом употреблении приводится в орфографии и пунктуации источников).

«Отъ Н. И. Язвицкаго, 22 ноября 1813. В. в-пр., м. г., Г. Р. Простите великодушно моей дерзости, что я пишу, а не самъ предстаю предъ лице ваше. Если бы тѣло и даже самый духъ мой не были убиты новыми несправедливостями и интриганствами; то бы я за первое щастіе почелъ быть у в-го в-пр. и представить нѣкоторыя сочиненія на благоразсмотрѣніе ваше. Теперъ книги и все мое остаюсь принужденнымъ бросить, и сверхъ воли моей искать себѣ другое мѣсто. Долгое время я на все смотрѣлъ с равнодушіемъ. И сносилъ все, что только касалось моей личности; честью, здоровьемъ, всѣмъ жертвовалъ для братскаго мира: но все было тщетно. Я атакованъ теперъ во всѣхъ положеніяхъ; лишень всего. Но, в. в-пр., со слезами умоляю васъ сокрыть мою жалобу; я могу еще болѣе пострадать отъ моихъ противниковъ. Ибо они

• **Павел Толстогузов** – литературовед, доктор филологических наук, профессор, специалист по русской классической литературе. Окончил Ленинградский университет. Работает в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема. Живет в Биробиджане.

---

весьма сильны и мстительны; но всехъ я ихъ прощаю в чистотѣ души. Всевидящій будетъ ихъ и моимъ единственнымъ покровомъ. При семъ осмѣливаюсь послать два стихотворенья, нѣсколько выражающія настоящее бытіе моего сердца. Одно (уцѣлевшее отъ многихъ сожженныхъ и никому не извѣстныхъ), написанное надъ могилами М. К. и проч., а другое на сей недѣль, по случаю поданной вами мысли о сокрывшемся солнцѣ. У меня нѣтъ ни духа, ни силъ вашихъ. Воробью ли летѣть за орломъ? Но я буду счастливъ, когда вы удостоите вниманія сіи мои сердечныя чувствованія и предадите ихъ забвенію. Ибо на царей роптать ужасно. Они не любятъ республиканскаго духа и чувствованій свойственныхъ россіянину, христіанину. Наслаждайтесь, м.г., остаткомъ жизни и покровительствуйте юныхъ пѣснопѣвцевъ, приходящихъ в священное уединеніе ваше. Вѣчно преданный и къ особѣ вашей исполненный глубочайшаго почтенія – отшельникъ Николай Язвѣцкій» [3: т. 6, с. 378].

Н. И. Язвѣцкій был членом-сотрудником второго разряда «Беседы», председателем которого был Державин. Кроме понятного пиетета, который автор письма демонстрирует по отношению к маститому поэту, формулы зачина выражают некоторое подобострашие (извинения за «дерзость», выражение «за первое счастье почёл быть») и местами содержат отчётливый канцелярский слог («представить сочинения на благорассмотрение»). «Беседа» была устроена иерархически и бюрократически<sup>1</sup>, по образцу департамента, что предполагало, судя по всему, соответствующий стиль общения (во всяком случае, между младшими и старшими) и вызывало насмешки современников. Известна характеристика Ф. Ф. Вигеля: «Наподобие Государственного совета, составленного из четырех департаментов, и «Беседу» разделили на четыре разряда и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по несколько членов и по несколько членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию «Беседы». Вообще, она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более таблицы о рангах, чем о талантах» [2: с. 163]. О молодых членах-сотрудниках «Беседы» презрительно отзывался П. А. Вяземский: «родъ служекъ и послушниковъ въ этомъ литературномъ монастырѣ» [3: т. 8, с. 907]. Ещё презрительнее за год до формального учреждения «Беседы» отзывался о «юных поклонниках» Державина Н. И. Гнедич: в письме К. Н. Батюшкову он третирует их как «лакеев» [1: с. 98]. Вряд ли тридцатилетний Язвѣцкій заслуживал подобных характеристик, но слог и тон *титularного советника* (каковым он и был по чину), несомненно, в начале его письма есть.

Далее следует указание на необходимость «искать себе другое место» вследствие каких-то «несправедливостей и интриганств». Речь, скорее всего, идёт о потере места наставника (учителя русского языка) при императрице Елизавете Алексеевне, происшедшей весной или ранним летом 1813 года<sup>2</sup>, или об отставке,

---

<sup>1</sup> Я. К. Грот: «общій характеръ ея («Беседы». — П. Т.) былъ бюрократическій» [3: т. 8, с. 910].

<sup>2</sup> Мы предполагаем этот срок потому, что Язвѣцкій, обучавший Елизавету Алексеевну, как об этом свидетельствуют её учебные записи, с 1810 по 1812 год (см.: [7: с. 203]), ещё упоминается в письмах императрицы 1813 года («нужно было, чтобы Язвѣцкій стал решительно безумным и дал этому в моем присутствии доказательства наименее двусмысленные» [8: с. 23—24, 27]), и потому, что он сам пишет корреспонденту по имени Николай Михайлович (О. А. Монякова по неизвестным нам причинам считает, что это Н. М. Карамзин) 12 июня этого же года: «Завидую Вамъ, что вы дышите Царскосельскимъ, а иногда и Павловскимъ воздухомъ, какимъ мнѣ дышать болѣе не позволено» [10: л. 45].

последовавшей вслед за прошением самого Язвицкого в сентябре того же года, с должности преподавателя Педагогического института. Выражение «сверх воли моей» в этом последнем случае может означать болезненную мнительность пишущего, так как если потеря места при дворе могла быть вызвана душевным расстройством и какими-то отклонениями в поведении (об этом в частной переписке упоминает сама императрица), то увольнение из института было его собственной инициативой (см.: [8: с. 25–26]). Впрочем, прошение об увольнении могло быть вынужденным – обусловленным отклоняющимся поведением Язвицкого и при дворе, и в отношениях с непосредственным начальством и коллегами, и в аудитории. Или быть разновидностью обидчивого жеста: не нужно меня увольнять, я сам уйду. В пользу такого предположения говорит концовка его июньского (того же года) письма к некоему попечителю по имени Николай Михайлович: «Естли же по сказанію и уверенію Директора, отрешать от института и не буду болѣе имѣть щастія заниматься словесностію при дворѣ, то прощайте, можетъ быть, я принужденъ буду заниматься земледѣліемъ въ селѣ Язвицкомъ» [10: л. 45–45 об.]<sup>3</sup>.

Затем в письме Державину следуют жалобы на «противников», которым противопоставляется «чистота души» пишущего. Возможно, перед нами многократно описанная в специальной литературе паранойя жалобщика (разделяемая, впрочем, многими современниками Язвицкого), бред преследования, но даже если это так, то сохраняют интерес некоторые детали и стилистическая окраска этого бреда. Например, выражение «братский мир» заставляет вспомнить о масонском братстве и его расхожей символике. Известно, что члены Беседы программно не жаловали масонство, что, разумеется, не исключало их членства в ложах в ту или иную эпоху их жизни<sup>4</sup> и тем более не исключало использования ими масонской символики. У Язвицкого она возникает, например, в его «эмблематическом стихотворении» «Обращение к Солнцу», где светило являет себя как Всевидящее око<sup>5</sup>. Тема верховного зрения возникает и здесь, в письме: «Всевидящий будет их и моим единственным покровом». Здесь становится ясно, что Язвицкий пишет не только своему литературному покровителю, но и адресуется через него обществу.

<sup>3</sup> В этом случае очень возможна прямая связь между получением должности преподавателя Педагогического института и местом учителя русского языка при дворе. В 1808 году Язвицкий, сразу после окончания института, получает место старшего учителя в Петербургской губернской гимназии. В 1810 году (возможно, по протекции какого-либо сановника из окружения А. С. Шишкова, на литературных вечерах которого Язвицкий замечен, как это явствует из мемуаров С. П. Жихарева, с 1807 года [5: с. 348–349]) он определен наставником по русскому языку императрицы Елизаветы Алексеевны (Луиза Баденская) и только после этого, в ноябре 1811 года, назначен преподавателем русской словесности Петербургского педагогического института с относительно немалым жалованьем в одну тысячу рублей в год (собственно жалованье 800 рублей и 200 рублей квартирных; см.: [11: л. 8–8 об.]). Получение недавним выпускником места в институте после получения им придворной службы выглядит как результат действия карьерного трамплина.

<sup>4</sup> В частности, из четырех руководителей разрядов трое входили в ложи или обсуждались как кандидаты на посвящение: А. С. Шишков (член ложи «Нептуна к надежде» в 1780-е гг. [13: с. 899, 950]), Г. Р. Державин (в те же 1780-е обсуждался Н. Н. Трубецким и А. А. Ржевским как кандидат на посвящение, вероятнее всего, в ложу розенкрейцеров [13: с. 298, 955 и далее]), И. С. Захаров (кандидат на посвящение в Великую Провинциальную ложу, член ложи Девяти Муз и ложи Урании с 1770-х [13: с. 341, 960, 968, 974]).

<sup>5</sup> В «Обращении к Солнцу» (1813 или 1814 год) игра с этой символикой есть и в настойчивом обращении к книге пророка Исайи, обладающей особым авторитетом у масонов из-за мотива «краеугольного камня» (Ис. 28:16), и в семантике последней строки стихотворения: «Да чувственной рукой безплотныхъ осязаю» [11: л. 12].

Стиль намекающих реминисценций и цитат вполне выдержан и в оставшейся части письма. Так, выражение «бытие моего сердца» является слегка перефразированным воспроизведением названия поэтического сборника князя И. М. Долгорукого<sup>6</sup>, стихи которого Язвический многократно приводил в качестве стиховедческих иллюстраций в своей книжке «Механизм, или Стопосложение российского стихотворства» (1810) и который оставил в своих мемуарах («Капище моего сердца...» – последняя авторская редакция 1818, первое издание 1874) очень короткий, на полстраницы, и при этом очень выразительный биографический очерк о самом Язвическом. При этом упомянуты стихотворения, одно из которых было написано «над могилами М. К. и проч.», а другое на тему «сокрывшегося солнца», будто бы сообщённую автору самим Державиным.

Что ни слово, то загадка. Кто такой М. К.? О каком «сокрывшемся солнце» идёт речь?

Под инициалами в переписке как тогда, так и в наши дни обычно скрывается либо лицо, входящее в общий для автора и адресата круг, либо кто-то из тех, кто постоянно на слуху. Интимность, позволяющая предполагать «домашнюю семантику» инициалов, в этом случае вряд ли была возможна. Остаётся вариант известного лица, и таким лицом мог быть Михаил Илларионович Кутузов, чья смерть произошла в апреле 1813 года и чей прах был торжественно погребён в июне того же года в Петербурге, в Казанском соборе. Кроме патриотического смысла, в упоминании Кутузова – если, конечно же, речь идёт о нём – был специальный «бесединский» смысл: фельдмаршал осознавался членами «Беседы» как провиденциальный спаситель России (см., например, державинский «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества», где пожалование полководцу титула «князь» трактуется как неслучайное совпадение с пророческим мотивом Священного Писания: «Востанет Михаил, князь великий»; см.: [З: т. 3, 152]). Язвический написал и опубликовал в «Сыне Отечества» (часть 1, № 6, 1812) оду, посвящённую сообщению Кутузова о победном сражении под Вязьмой. Для писателя, не так давно опубликовавшего «Историческое похвальное слово Суворову» (1810), смерть человека суворовской плеяды и спасителя России должна была быть событием, имеющим непосредственное отношение к «бытию сердца» и, соответственно, к творчеству. При этом смущает упоминание ещё каких-то «могил», но выражение «написанное над могилами» имеет, конечно, не буквальное, а метафорическое значение (написанное в память о нескольких дорогих умерших) и может как относиться к некоему неизвестному нам поминальному списку, так и быть поэтической фигурой речи.

В той же фразе появляется образ «сокрывшегося солнца». Здесь диапазон предположений должен быть шире: образ слишком употребителен в поэзии того времени. Чаще всего он связан с темой царской семьи. У Державина, «подавшего мысль», среди последних по времени текстов, содержащих такую символику, выделяется гимн «Сретение Орфеем солнца», написанный в 1811 году и, судя по всему, приуроченный к открытию «Беседы» и, главное, к планировавшемуся посещению этого литературного общества императором (который не приехал; см. об этом: [З: т. 3, с. 81]). В том же образном ключе выдержаны и другие поэтические тексты участников «Беседы». Ср.: «Но где же солнце теплотою, / Где, на каких берегах Скамандр / Пред нашей хвалится Невою, / Коль наше солнце Александр?» (А. А. Вол-

<sup>6</sup> «Бытие сердца моего, или Стихотворения князя Ивана Михайловича Долгорукого» (М., 1802).

кова [9: с. 495]). Почему солнце «сокрывшееся»? Самое простое объяснение будет связано с тем обстоятельством, что в 1813 году император находился в заграничном походе. Более сложное, но и менее вероятное, связано с возможным отнесением к «сокрывшемуся солнцу» политических мотивов и, в частности, мотива не справившегося с солнечной колесницей Фаэтона, который, по мнению исследователей (В. А. Западова и М. Г. Альтшуллера), возникает в поэзии Державина и близких к «Беседе» стихотворцев (см.: [1: с. 244–249]) в 1800-е годы. (Вместе с тем эта версия поддерживается контекстом «республиканских» строк письма Язвицкого.)

«Сокрывшимся солнцем» мог быть и Кутузов, и даже с большей, как нам представляется, вероятностью в силу совпадения сроков: 12 октября 1813 года Державин пишет стихотворение «Тление и нетление», посвященное смерти Кутузова, в котором сравнивает полководца с закатившимся светилом: «Что, солнце, вид твой побледнел? / Во мглу златяя скрылись латы, / За облак шлем огневласатый, / И нет в твоём уж туле стрел!» [3: т. 3, с. 176]. В сознании современников образ Кутузова оказался буквально до последних минут прощания со светлейшим связан с мистикой солнечного света. Н. И. Тургенев писал А. И. Михайловскому-Данилевскому о похоронах Кутузова: «В то время, когда гроб был снят с катафалка и понесен в приготовленную в церкви же могилу, яркие лучи солнца ударили из верхнего окна прямо на могилу, прежде же того погода была пасмурная. Таким образом само небо, казалось, принимало участие в сей горести народной и благословило в могилу победителя того, который вооружался против человечества, вооружился и против самого Бога» [16]. В пользу этого предположения также говорит примечание Язвицкого к одному из своих неизданных стихотворений («Содрога воздух! Воть еще...»), содержащихся в деле Комитета общественной безопасности и датированных апрелем 1814 года: «Надъ М. Л. К. Смоленскимъ на другой день Иллюменаціи въ Каз. цер. было воспоминаніе въ присудствіи одного Сенатора и Граж. Губер.», т. е. «Над Михаилом Ларионовичем Кутузовым-Смоленским на другой день иллюминации в Казанской церкви было воспоминание в присутствии одного сенатора и гражданского губернатора» [11, л. 14]<sup>7</sup>.

Кроме того, образ затуманившегося солнца открывает стихотворение-послание самого Язвицкого «Обращение к Солнцу» (более поздняя, чем письмо Державину, датировка этого текста может быть связана с тем, что оно было оформлено как послание родным позже; если это так, то именно о нём может идти речь в письме и к двум предыдущим версиям присоединяется ещё одна).

Затем автор письма вновь возвращается к теме различий между собой и авторитетным корреспондентом: «У меня нет ни духа, ни сил ваших. Воробью ли лететь за орлом?». Здесь приводится эмблематическая пара «орёл и мелкая/прозаическая птица», неоднократно возникавшая в басенных и иных контекстах, ср.: «Орел и куры» И. А. Крылова (1808), «Орел и каплун» И. И. Дмитриева (1806), «Дамон» А. П. Сумарокова («Орел своих птенцов под крыльями согрел, / И воробей к своим яичкам прилетел» [14: с. 496]); послание самого Державина А. В. Храповицкому

<sup>7</sup> Речь, вероятнее всего, идёт о празднованиях, совершавшихся в Петербурге по случаю победы союзных войск над Наполеоном в апреле 1814 г. «Сенатор и гражданский губернатор» – Михаил Михайлович Бакунин, гражданский губернатор Петербурга с 1808 по 1816 г. (Позже Язвицкий, уже из Обуховской больницы, напишет М. М. Бакунину письмо с просьбой об «освобождении». См.: [11: л. 23].)

(1797, опубликовано в 1808) содержит строки «Но с тобой не соглашуся / Я лишь в том, что я орел», которые являются ответом на такое же, как у Язвического, сравнение творческих возможностей, допущенное Храповицким: «Орел державный ты, – я пташка» [4: с. 246, 424].

В следующем за этим рассуждении неожиданно возникает резкий политический акцент: «Но я буду счастлив, когда вы удостоите внимания сии мои сердечные чувствования и предадите их забвению. Ибо на царей роптать ужасно. Они не любят республиканского духа и чувствований, свойственных россиянину, христианину». Симпатии Язвического к республиканской идее косвенным образом проявляют себя и до этого в некоторых его текстах: во «Введении в науку стихотворства» (ср. рассуждение о шотландцах и галлах, чьи древние песни вселяли «мужество, неустрашимый дух и презрѣніе къ рабству» [17: с. 82]) и даже в «Историческом похвальном слове Суворову», содержащем среди прочего такую красноречивую характеристику полководца: «ограничивая власть другихъ, не хотѣлъ самъ быть неограниченнымъ» [17: с. 77–78]<sup>8</sup>. Тема ничтожности «земных царей» возникает и в упоминавшемся выше стихотворении «Содрогаюсь воздухъ! Вотъ еще...» [11: л. 13–14 об.]. Нельзя исключать и влияние со стороны стилистически близкого к бесединцам А. Н. Радищева: как литературное, так и политическое<sup>9</sup>. Соединение «республиканского духа» и изначальной народности было произведено именно Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Новгород»). Язвический проводит похожую мысль во «Введении в науку стихотворства», когда сравнивает оссиановские мотивы (песни, «кои сохранены в Сѣверной Шотландіи») со «Словом о полку Игореве»: «въ нихъ является пылкое стремленіе къ свободѣ» [17: с. 109]. Со стороны Язвического это, конечно, был не программный республиканизм, а, скажем так, политическое *настроение*, в котором различимы республиканские оттенки.

Завершает Язвический своё письмо Державину чем-то похожим сразу и на панегирик, и на несколько странное наставление: «Наслаждайтесь, милостивый государь, остатком жизни и покровительствуйте юных песнопевцев, приходящих в священное уединение ваше. Вечно преданный и к особе вашей исполненный глубочайшего почтения – отшельник Николай Язвический». «Священное уединение», конечно, – знаменитое имение Званка, которую сам Державин неоднократно именовал своим «уединением» и в переписке, и в стихотворениях (см.: «Тишина» 1801, «Атаману и Войску Донскому» 1807, «Евгению. Жизнь Званская» 1807).

Итак, перед нами любопытный документ, отражающий психологию литературного «маленького человека», который имеет тайные амбиции. Эти амбиции были подержаны тем, что он ненадолго оказался «в случае», как говаривали в недавнем XVIII веке. Он говорит о себе в письме как об авторе «многих сожженных и никому не известных стихотворений», а двумя годами ранее в посвящении, адресованном императрице Елизавете Алексеевне и предпосланном «Введению в науку стихотворства», называет себя «писателем, неизвестным миру» [17: с. 2]. В этом Язвический следует уже упрочившемуся шаблонному образу певца, сформулированному сен-

<sup>8</sup> Интерес к полководцу мог быть вызван не только программными установками «Беседы», но и воспоминаниями об относительно недавней республиканской фронде А. М. Каховского и его единомышленников, делавших ставку на популярность Суворова в своих планах свержения «тирании» Павла Первого.

<sup>9</sup> О литературном влиянии А. Н. Радищева на писателей, принадлежавших к кругу «Беседы», см.: [1: с. 318–329].

тиментальной традицией. Ср.: «Здесь пепел юноши безвременно сокрыли, / Что слава, счастье, не знал он в мире сем» (В. А. Жуковский. «Сельское кладбище»; см.: [6: т. 1, с. 33]). Таких шаблонов не чурались, конечно, и «беседисты»: ср., напр., более позднюю, чем описываемый контекст, но не менее характерную строку Д. И. Хвостова о «певце, безвестном средь мира»<sup>10</sup>. В случае с Язвическим эта поэтическая фигура речи оправдалась вполне: уже в начале XX века стали путать его отчество (см.: [12: с. 32]), а современный исследователь и знаток истории «Беседы любителей русского слова» (М. Альтшуллер) при описании персонального состава «Беседы» не приводит даты жизни Язвического: они ему неизвестны (см.: [1: с. 402]).

На эпистолярных и стихотворных текстах Язвического 1813–1814 годов лежит отпечаток болезненной сосредоточенности сознания на каких-то внутренних, слишком жизненных фикциях, выраженных тяжеловесным языком присяжного «беседиста». (О. А. Монахова, конечно, по недоразумению отнесла его к людям, близким к «карамзинистам» [8: с. 25]; другое дело, что, кажется, и вполне правоверным бесединцем он не был: см. концовку «Введения», где он призывает своё поколение к вступлению в «новый период словесности» и приводит в качестве примера предшествующую литературную генерацию, где имена Дмитриева и Карамзина оказываются – буквально – между именами Державина, Петрова и Кострова [16: с. 127].)

Перед нами будто бы явление «младоархаиста», вышедшего рано, до звезды...

Официальные характеристики Язвического после его тяжелейшего проступка (преподнесения владимирскому губернатору записки с яростными, сумбурными выпадами в адрес Александра Благословенного) были, конечно же, специфически мотивированными, но в них, кроме несколько растерянного указания на «несогласную съ здравымъ разсудкомъ рѣшимость» [11: л. 1 об.], есть, вероятно, и какая-то правда: кроме воспитанной семинарско-чиновничьей средой сервильности в нём также были «надмѣнность и упрямство» [11: л. 30], соединённые, и это без сомнения, с действием поприщинских «разных причин и размышлений». Всё вместе это являет что-то прототипическое для будущих титулярных советников русской литературы. Полицейское заключение в его деле завершается словами, годящимися для последней фразы в повести о бедном, помешавшемся в уме чиновнике всех времён: «Онъ и до нынѣ остается въ Обуховской Больницѣ» [там же].

История не знает сослагательного наклонения – она в значительной степени таковым является, как и биография. Поэтому мы вправе сказать: если бы не роковое обострение 1813 года, то Язвический мог продолжить карьеру ученого и преподавателя в Педагогическом институте, преобразованном вскоре после его отставки стараниями С. С. Уварова в Главный институт, а затем в Университет. Он мог доживать жизнь адъюнктом или профессором, сочувствовать или нет новым веяниям в по-

<sup>10</sup> «Къ Н. Н. О наводнении Петрополя, бывшемъ 7-го Ноября 1824 года» [14: т. 2, с. 109]. С полным сочувствием к сентиментальной формуле «неизвестного миру певца» переводил Грея и такой одиозный антикарамзинист, как Павел Иванович Голенищев-Кутузов: «Смиранный юноша в сем гробе положен, / Который счастием и славой был забвен» [9: с. 480]. (Правда, этот перевод появился в 1803 году, т.е. за несколько лет до начала литературных вечеров будущих бесединцев, но и впоследствии он пользовался одобрением в этой среде. Так, С. П. Жихарев вспоминает о том, что А. С. Шишков находил перевод Кутузова «очень хорошим» [5: с. 438]. Карамзинистская по стилю поэтическая практика литераторов антикарамзинистского крыла тогдашней русской литературы – тема, не утратившая и сегодня оттенка новизны. Симпатии Державина — пусть и подверженные сменам настроения – к литературе поэтов карамзинского круга и самого Карамзина известны.)



литике и литературе и, возможно, писать какие-нибудь обидчивые «Записки» о тех годах, когда он сам и его «притеснители» были полны жизни, воздух Царского села полон июньской сиренью, а взгляд Государыни так доброжелателен... Но ничего этого не было. Николай Иванович Язвицкий скончался в корпусе для душевнобольных Обуховской больницы (в «жёлтом доме») 17 июня 1820 года.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Альтшуллер М.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. – М. : Новое лит. обозрение, 2007.
2. *Вигель Ф. Ф.* Записки. – М. : Захаров, 2000.
3. *Державин Г. Р.* Сочинения Державина съ объяснительными примѣчаниями Я. Грота : В 9 т. – СПб. : Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1864–1883.
4. *Державин Г. Р.* Стихотворения. – Л. : Совет. писатель, 1957.
5. *Жихарев С. П.* Записки современника. – М.; Л. : АН СССР, 1955.
6. *Жуковский В. А.* Собрание сочинений : В 4 т. – М.; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1959–1960.
7. *Киселёва Л. Н.* Жуковский – преподаватель русского языка (начало «царской педагогики») // Пушкинские чтения в Тарту. 3: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. – Тарту, 2004. С. 198–228.
8. *Монякова О. А.* Писатель Н. И. Язвицкий. Новые факты биографии // Рождественский сборник. Выпуск VI / Материалы конф. «Провинциальное общество и культура (к 200 летию со дня рождения А. С. Пушкина)». – Ковров, 1999. С. 23–27.
9. *Поэты 1790–1810-х годов.* – Л. : Совет. писатель, 1971.
10. РГИА. Ф. 535. Оп. 1. Д. 3.
11. РГИА. Ф. 1163. Оп. 16. Д. 1.
12. *Русский биографический словарь* : В 25 т. Т. 25: Яблоновский–Фомин / Изд. Императорским Русским Историческим Обществом. – СПб. : Тип. Главного Упр. уделов, 1913.
13. *Серков А. И.* Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. – М. : Рос. полит. энциклопедия, 2001.
14. *Сумароков А. П.* Избранные произведения. – Л. : Совет. писатель, 1957.
15. *Хвостов Д. И.* Полное собрание стихотворений графа Хвостова : В 7 т. Т. 2. – СПб. : Въ типографіи Императорской Россійской Академіи, 1829.
16. *Шишов А. В.* Неизвестный Кутузов. Новое прочтение биографии. – М., 2002 [Электронный документ] // URL: [http://www.hrono.ru/libris/lib\\_r/181306turg.html](http://www.hrono.ru/libris/lib_r/181306turg.html) (дата обращения: 12 февраля 2011 г.).
17. *Язвицкий Н. И.* Введение въ науку стихотворства, или Разсужденіе о началѣ поэзіи вообще, и Краткое повѣствованіе восточнаго Еврейскаго, Греческаго, Римскаго, древняго и средняго Россійскаго стихотворства. – СПб. : Медицинская типографія, 1811.
18. *Язвицкий Н. И.* Историческое похвальное слово Суворову, или Лавры генералиссимуса князя Италійскаго и графа Рымникскаго. – СПб. : Императорская Академія наукъ, 1810.



Елена  
ГЛЕБОВА

## В МАСТЕРСКОЙ ИБРАГИМБЕКОВА

К 75-летию Рустама Ибрагимбекова издательство кино-театрального центра «Ибрус» выпустило книгу Натальи Старосельской «Похожий на льва». (*Старосельская Н. Похожий на льва.* — М. : Кино-театральный центр «Ибрус», 2014. — 200 с., ил.). Автор — писатель, театральный критик, кандидат филологических наук — рассказывает о таком масштабном явлении в азербайджанской и российской культуре, как Р. Ибрагимбеков. Режиссер, драматург, продюсер, он написал 15 пьес, обошедших подмостки более 100 театров мира, 50 киносценариев, принесших ему народную любовь, создал уникальный театр «Ибрус», который сегодня живет в двух столицах — Москве и Баку.

«Юбилей этого человека без преувеличения можно назвать событием для мировой культуры, потому что он сумел объединить своим творчеством народы, страны, континенты, — пишет Наталья Старосельская. — Оставаясь глубоко национальным писателем и драматургом, он явил нам всем истинный облик человека мира, которому ведомы и далеко не безразличны проблемы, боль и радость людей, независимо от их национальной, социальной или другой какой-либо принадлежности».

Продвигаясь по линии жизни Рустама Ибрагимбекова, Наталья Старосельская знакомит читателя с особым миром города его детства — Баку, где спустя годы Мастер построит свой «Ибрус», соединив в едином пространстве самых ярких актеров, способных понять главную идею — «вернуть человека к самому себе, к тому лучшему, что было в нем когда-то, но затерялось, отступило под гнетом непростой и невеселой жизни». Она прорастает в самом первом спектакле «Похожий на льва», чтобы со временем укрепиться во время гастрольных поездок по России, на различных фестивалях, всегда привнося необычные краски. «Режиссура Рустама Ибрагимбекова в первом спектакле театра «Ибрус» оказалась поистине мастерской — ничего не педантируя, растворяясь в артистах, которым он полностью доверял, он выстраивал «Похожего на льва» ненавязчиво

• **Елена Глебова** — журналист, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Союза театральных деятелей РФ (Москва), главный редактор регионального культурно-просветительского журнала «Словесница Искусств» (Хабаровск), член Союза театральных деятелей РФ (секция театральной критики), член Союза художников РФ (секция искусствоведения).

---

и в то же время очень смело — десять лет назад режиссура почитала своим долгом грубо вмешиваться в литературную канву, навязывать зрителю собственное видение ситуаций и характеров; связь между происходящим на сцене и в зрительном зале перестала играть какую бы то ни было роль, — размышляет автор книги. — Так что Рустам Ибрагимбеков совершенно сознательно «вывел» сам себя за рамки моды и за рамки обслуживания скучающей и уже достаточно развращенной к самому началу XXI столетия публики. Он заговорил с ней так, как говорили в прежние времена режиссеры, которым было необходимо, чтобы их непременно услышали и поняли, — Георгий Александрович Товстоногов, Андрей Александрович Гончаров, Анатолий Васильевич Эфрос, Олег Николаевич Ефремов. Говорили о самом простом и человеческом во имя того, чтобы зритель проникся высокими помыслами и чувствами...»

Когда читаешь о спектаклях Ибрагимбекова, возникает ощущение, что оказываешься в мастерской этого режиссера, и в этом особенность книги «Похожий на льва». Ее автор щедро делится собственными эмоциями от театральных работ «Ибруса», но не ограничивается лишь ими, а цитирует других театральных критиков, дополняет рассказ о Рустаме Ибрагимбекове фрагментами интервью с ним, записанными в разное время, и потому создается впечатление многомерности, объемности. Вот небольшая цитата из главы, где речь идет о «Последнем поединке Ивана Бунина»: «В спектакле каким-то удивительным образом заложена возможность подвижности характеров. Театральный критик Майя Романова, как и я, видевшая «Последний поединок Ивана Бунина» трижды, отмечала на обсуждении в Саранске, что «у актеров есть возможность, не меняя режиссерской концепции, не выходя за рамки режиссерской конструкции, придавать этой истории свежее дыхание... Я смотрела так, словно это — совершенно новый для меня спектакль. В Махачкале я видела взрослую, со сложившейся судьбой и характером героиню. А здесь — молодую, ранимую, строптивую. Появился другой объем. Внутри этой пьесы — подвижная, меняющаяся жизнь».

И еще в этой книге важны авторские ремарки о создании ибрагимбековских пьес и тот исторический контекст, который наполняет их. Рассказ о спектакле «Последний поединок Ивана Бунина» в главе «Поединок роковой» Н. Старосельская предваряет малоизвестной историей взаимоотношений азербайджанской девушки Умм-эль-Бану, взявшей в эмиграции литературный псевдоним Банин, и Ивана Алексеевича Бунина, раскрывая интереснейшую страницу в истории российской эмиграции.

Так, из фрагментов мозаики, складывается летопись «Ибруса», со временем громко заявившего о себе не только в российских городах, но и за рубежом. И вот мы уже погружаемся в новую историю, связанную с Марселем, замечательным фестивалем, который проводит театр «Турски», и мадридскими гастролями «Ибруса», когда он получил самые высокие оценки на Международном симпозиуме театров стран Средиземноморья. Потом эмоции отступают, меняются географические точки, и мы снова в тишине режиссерской лаборатории. «Для Рустама Ибрагимбекова-режиссера важнее прочего, — пишет Наталья Старосельская, — создать атмосферу происходящего и незаметно, ненавязчиво заставить зрителя войти в нее, чтобы ощутить, как сладость искусства и горечь жизни смешиваются в едином кипящем тигеле, чтобы чем-то встревожить нас, что-то изменить в нашем восприятии реальности и... может быть, мы станем от этого счастливей?».

С 2016 г. журнал «Изящная словесность» включен  
в «Каталог подписных изданий» ЗАО «Прессинформ»  
(г. Санкт-Петербург). Подписной индекс **10789**.

**ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ №2 (26) • 2015**  
*Литературно-художественный журнал*

Учредитель *С. А. Склейнис*

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01360 от 27.05.2013 г.  
выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Северо-Западному федеральному округу.

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская, д. 22, лит. В.  
Тел. (812) 404-63-08, +79148524838.  
Почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 20, корп. 3-12.  
E-mail: skleynis@ou.ru

Оформить подписку и приобрести отдельные номера журнала можно в редакции.  
Заказ по электронной почте: E-mail: skleynis@ou.ru

**Розничная продажа в Санкт-Петербурге:**  
магазин «Порядок слов» (Набережная реки Фонтанки, 15),  
Петербургская книжная лавка (Невский проспект, 66),  
книжный салон «У Ахматовой» (Литейный проспект, 51)

•

Корректор *С. Вершинина*  
Технический редактор *К. Новикова*  
Компьютерная верстка *С. Ефимовой*  
Фото на обложке *Е. Сапожникова*

•

Подписано в печать 12.08.2015 г. Гарнитура Букварная. Формат 70×100/16.  
Усл.-печ. л. 10,85. Уч.-изд. л. 11,2. Печать ризография. Тираж 300. Заказ 162. Цена свободная.

---

Отпечатано в типографии Санкт-Петербургского политехнического университета:  
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 702-77-18.